ВИРДЖИНИЯ

ВУЛФ

Миссис Дэллоуэй

На маяк

ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Вирджиния Вулф

Миссис Дэллоуэй. На маяк (сборник)

Серия «Зарубежная классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23553865
Миссис Дэллоуэй. На маяк: [романы] / Вирджиния Вулф: АСТ; Москва; 2017
ISBN 978-5-17-102090-3

Аннотация

В это издание вошли романы «Миссис Дэллоуэй» и «На маяк» – яркие образцы творческого стиля Вулф, в которых незначащие, повседневные внешние события практически неизменно представляют собой лишь канву для интенсивной и эмоционально напряженной внутренней жизни персонажей.

Отказавшись от выраженного сюжета и единства времени действия, писатель освободила свою прозу от необходимости следовать четким правилам и дала простор не только поэтической образности своего языка, но и своему необычайно глубокому психологизму.

Содержание

Миссис Дэллоуэй 5
Конец ознакомительного фрагмента. 123

Вирджиния Вулф
Миссис Дэллоуэй. На маяк
Романы

Virginia Woolf
Mrs. Dalloway
To the lighthouse
© Перевод. Е. Суриц, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2017

Миссис Дэллоуэй

Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы. Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать; придут от Рампльмайера. И вдобавок, думала Кларисса Дэллоуэй, утро какое – свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже.

Как хорошо! Будто окунаешься! Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в Нортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас, конечно, ранний, утренний воздух; как шлепок волны; шепоток волны; чистый, знобящий и (для восемнадцатилетней девчонки) полный сюрпризов; и она ждала у растворенной двери: что-то вот-вот случится; она смотрела на цветы, деревья, дым оплетал их, вокруг петляли грачи; а она стояла, смотрела, пока Питер Уолш не сказал: «Мечтаете среди овощей?» Так, кажется? «Мне люди нравятся больше капусты». Так, кажется? Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии, в июне, в июле, она забыла, когда именно, у него такие скучные письма; это слова его запоминаются; и глаза; перочинный ножик, улыбка, брюзжанье и, когда столько вещей безвозвратно ушло – до чего же странно! – кое-какие фразы, например про капусту.

Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. Прелестная женщина, подумал про нее Скруп Певис (он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой в Вестминстере); чем-то, пожалуй, похожа на птичку, на сойку; сине-зеленая, легонькая, живая, хоть ей уже за пятьдесят и после болезни она почти совсем поседела. Не заметив его, очень прямая, она стояла у перехода, и лицо ее чуть напряглось.

Потому что, когда проживешь в Вестминстере – сколько? уже больше двадцати лет, – даже посреди грохота улицы или проснувшись посреди ночи, да, положительно – ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину (но, может быть, все у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюэнцы) перед самым ударом Биг-Бена. Вот! Гудит. Сперва мелодично – вступление; потом непреложно – час. Свинцовые круги побежали по воздуху. Какие же мы все дураки, думала она, переходя Виктория-стрит. Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять; но и самые невозможные пугала, обиженные судьбой, которые сидят у порога, совершенно отпетые, заняты тем же; и потому-то, бесспорно, их не берут никакие постановления парламента: они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; грохот, клекот, рев автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэроплана, – вот что она так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня.

Да, середина июня. Война кончилась, в общем, для всех; правда, миссис Фокскрофт вчера изводилась в посольстве из-за того, что тот милый мальчик убит и загородный дом теперь перейдет кузену; и леди Бексборо открывала базар, говорят, с телеграммой в руке о гибели Джона, ее любимца; но война кончилась; кончилась, слава Богу. Июнь. Король с королевой у себя во дворце. И повсюду, хотя еще рань, все звенит, и цокают пони, и стучат крикетные биты; «Лордз», «Аскот», «Рэниле» и всякое такое; они еще одеты синеватым, матовым блеском утра, но день, разгулявшись, их обнажит, и на полях и площадках будут ретивые пони, они тронут копытцами землю, и поскачут, поскачут, поскачут лихие наездники и в веющей кисее хохотуньи-девчонки, которые протанцевали ночь напролет, а сейчас выводят потешных пушистых собачек; и уже сейчас, с утра пораньше, скромно-царственные вдовицы мчат на своих лимузинах по каким-то таинственным делам; а торговцы возятся в витринах, раскладывают подделки и бриллианты, прелестные зеленоватые броши в старинной оправе на соблазн американцам (но не надо транжирить деньги, сгоряча покупать такие вещи Элизабет), а она сама, любя все это нелепой и верной любовью и даже причастная ко всему этому, ибо предки были придворными у Георгов, – сама она тоже сегодня зажжет огни: у нее сегодня прием. А странно, в парке – вдруг – какая тишина; жужжанье; дымка; медленные, довольные утки; важные зобатые аисты; но кто же это шествует, выступая, как

ему и положено, на фоне правительственных зданий, держа под мышкой папку с королевским гербом, кто как не Хью Уитбред, старый друг Хью – дивный Хью!

– День добрый, Кларисса! – сказал Хью чуть-чуть чересчур, пожалуй, изысканно, учитывая, что они друзья детства. – Чему обязан?

– Я люблю бродить по Лондону, – сказала миссис Дэллоуэй. – Нет, правда. Больше даже, чем по полям.

А они как раз приехали – увы – из-за докторов. Другие приезжают из-за выставок; из-за оперы; вывозить дочерей; Уитбреды вечно приезжают из-за докторов. Кларисса сто раз навещала Ивлин Уитбред в лечебнице. Неужто Ивлин опять заболела? «Ивлин изрядно расклеилась», – сказал Хью, производя своим ухоженным, мужественным, красивым, превосходно драпированным телом (он всегда был почти чересчур хорошо одет, но, наверно, так надо, раз у него какая-то там должность при дворе) некий маневр – вздувания и сокращения, что ли, – и тем давая понять, что у жены кой-какие неполадки в организме, нет, ничего особенного, но Кларисса Дэллоуэй, старинная подруга, уж сама все поймет, без его подсказок. Ах да, ну конечно, она поняла; какая жалость; и одновременно с вполне сестринской заботой Кларисса странным образом ощутила смутное беспокойство по поводу своей шляпки. Наверное, не совсем подходящая шляпка для утра? Дело в том, что Хью, который уже спешил дальше, изысканно помахивая шляпой и уверяя Клариссу,

что ей на вид восемнадцать лет и, разумеется, разумеется, он к ней сегодня придет, Ивлин просто настаивает, только он слегка опоздает из-за приема во дворце, ему туда надо отвести одного из мальчишек Джима, – Хью всегда чуть-чуть подавлял ее; она рядом с ним чувствовала себя как школьница; но она к нему очень привязана; во-первых, знакомы целую вечность, и к тому же он, в общем, вполне ничего, хотя Ричарда он доводит чуть не до исступления, ну а Питер Уолш, так тот по сей день ей не может простить благосклонности к Хью.

В Бортоне были бесконечные сцены. Питер бесился. Хью, конечно, никоим образом ему не чета, но уж и не такой он болван, как Питер изображал; не просто разряженный павлин. Когда старушка мать просила его бросить охоту или отвезти ее в Бат, он без слова повиновался; нет, правда же, он совсем не эгоист, а насчет того, что у него нет сердца, нет мозгов, а исключительно одни манеры и воспитание английского джентльмена – так это уж только с самой невыгодной стороны рекомендует милого Питера; да, он умел быть несносным; совершенно невозможным; но как чудно было бродить с ним в такое вот утро.

(Июнь выпятил каждый листок на деревьях. Матери Пимлико кормили грудью младенцев. От флота в Адмиралтейство поступали известия. Арлингтон-стрит и Пиккадилли заряжали воздух парка и заражали горячую, лоснящуюся листву дивным оживлением, которое так любила Кларисса.

Танцы, верховая езда – она когда-то любила все это.)

Ведь пусть они сто лет как расстались – она и Питер; она ему вообще не пишет; его письма – сухие, как деревяшки; а на нее все равно вдруг находит: что он сказал бы, если б был сейчас тут? Иной день, иной вид вдруг и вызовут его из прошлого – спокойно, без прежней горечи; наверное, такая награда за то, что когда-то много думал о ком-то; тот приходит к тебе из прошлого в Сент-Джеймсский парк в одно прекрасное утро – возьмет и придет. Только Питер – какой бы ни был чудесный день, и трава, и деревья, и вот эта девчушка в розовом, – Питер не замечал ничего вокруг. Сказать ему – и тогда он наденет очки, он посмотрит. Но интересовали его судьбы мира. Вагнер, стихи Поупа, человеческие характеры вообще и ее недостатки в частности. Как он школил ее! Как они ссорились! Она еще выйдет за премьер-министра и будет встречать гостей, стоя на верху лестницы; безупречная хозяйка дома – так он ее назвал (она потом плакала у себя в спальне), у нее, он сказал, задатки безупречной хозяйки.

И вот, оказывается, она все еще не успокоилась, идет по Сент-Джеймсскому парку, и доказывает себе, и убеждается, что была права, – конечно, права! – что не вышла за него замуж. Потому что в браке должна быть поблажка, должна быть свобода и у людей, изо дня в день живущих под одной крышей; и Ричард ей предоставляет свободу; а она – ему. (Например, где он сегодня? Какой-то комитет. А какой – она же не стала расспрашивать.) А с Питером всем надо было

б делиться; он во все бы влезал. И это невыносимо, и когда дошло до той сцены в том садике, около того фонтана, она просто должна была с ним порвать, иначе они бы погибли оба, они бы пропали, бесспорно; хотя не один год у нее в сердце торчала заноза и саднила; а потом этот ужас, в концерте, когда кто-то сказал ей, что он женился на женщине, которую встретил на пароходе по пути в Индию! Никогда она этого не забудет. Холодная, бессердечная, чопорная – хорошо он ее честил. Ей не понять его чувств. Но уж красотки-то в Индии, те, конечно, его понимают. Пустые, смазливые, набитые дуры. И нечего его жалеть. Он вполне счастлив – он уверял, – совершенно счастлив, хотя ничего абсолютно не сделал такого, о чем было столько говорено; взял и загубил свою жизнь; вот что до сих пор ее бесит.

Она дошла до ворот парка. Постояла минутку, поглядела на катившие по Пиккадилли автобусы.

Ни о ком на свете больше не станет она говорить: он такой или этакий. Она чувствует себя бесконечно юной; одновременно невыразимо древней. Она как нож все проходит насквозь; одновременно она вовне, наблюдает. Вот она смотрит на такси, и всегда ей кажется, что она далеко-далеко на море, одна; у нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день – очень-очень опасное дело. Не то чтоб она считала себя такой уж тонкой или незаурядной. Просто удивительно, как она ухитрилась пройти по жизни с теми крохами познаний, которыми снабдила их фройляйн Дэниелс. Она ведь ничего

не знает; ни языков, ни истории; она и книг-то толком уже не читает, разве что мемуары на сон грядущий; и все равно – как это захватывает; все это; скользящие такси; и больше она не станет говорить про Питера, она не станет говорить про самое себя: я такая, я этакая.

Единственный дар ее – чувствовать, почти угадывать людей, думала она, идя дальше. Оставьте ее с кем-нибудь в комнате, и она сразу выгнет спину, как кошка; или она замурлычет. Девоншир-Хаус, Бат-Хаус, особняк с фарфоровым какаду – она их помнит в огнях; и были Сильвия, Фред, Салли Сетон – бездна народа; танцевали всю ночь до утра; уже фургоны тащились на рынок; домой шли через парк. Еще она помнит, как однажды бросила шиллинг в Серпантин. Но подумаешь, мало ли кто что помнит; а любит она – вот то, что здесь, сейчас, перед глазами; и какая толстуха в пролетке. И разве важно, спрашивала она себя, приближаясь к Бонд-стрит, разве важно, что когда-то существование ее прекратится; все это останется, а ее уже не будет, нигде. Разве это обидно? Или наоборот – даже утешительно думать, что смерть означает совершенный конец; но каким-то образом, на лондонских улицах, в мчащемся гуле она останется, и Питер останется, они будут жить друг в друге, ведь часть ее – она убеждена – есть в родных деревьях; в доме-уроде, стоящем там, среди них, разбросанном и развалленном, в людях, которых она никогда не встречала, и она туманом лежит меж самыми близкими, и они поднимают ее на ветвях, как де-

ревья, она видела, на ветвях поднимают туман, но как далеко-далеко растекается ее жизнь, она сама. Но о чем это она размечталась, глядя в витрину Хэтчарда? К чему подбирается память? И какой молочный рассвет над полями видится ей сквозь строки распахнутой книги:

Злого зноя не страшись
И зимы свирепой бурь.

За эти последние годы во всех, мужчинах и женщинах, вскрылись источники слез. Слез и горя; смелости и выдержки; замечательного героизма и стойкости. Подумать хотя бы о женщине, которой она особенно восхищается, – как леди Бексборо открывала базар.

В витрине были «Веселые вылазки Джорока» и «Мистер Спонж», «Мемуары» миссис Асквит, «Большая охота в Нигерии» – все лежали распахнутые. Бездна книг, но ни одной уж совсем подходящей, чтоб можно понести Ивлин Уитбред в лечебницу. Такой, чтоб ее развлекла и заставила эту неописуемо тощую и крошечную женщину глянуть на Клариссу, когда она войдет, хоть на миг потеплевшими глазами, прежде чем пуститься в вечный разговор о женских болезнях. Как приятно, если радуются, когда ты входишь, подумала Кларисса, и повернула, и пошла обратно к Бонд-стрит, злясь на себя, потому что глупость – делать что-то из сложных каких-то соображений. Стать бы как Ричард, например,

и делать что-то просто так, раз надо, а она, думала Кларисса, ожидая у перехода, вечно делает что-то не просто, чтоб делать, а чтобы понравиться; полный идиотизм, думала она (но вот полицейский поднял руку), никого ведь не проведешь. О, если б начать жизнь сначала! – думала она, ступая на мостовую. Хоть выглядеть бы иначе!

Во-первых, хорошо бы быть смуглой, как леди Бексборо, с кожей, как тисненая юфть, и прекрасными глазами. Хорошо бы, как леди Бексборо, быть медленной, статной; крупной; по-мужски интересоваться политикой; иметь загородный дом; быть царственной; откровенной. У нее же, наоборот, тело узкое, как стручок; до смешного маленькое личико, носатое, птичье. Зато она держится прямо, что правда, то правда; и у нее красивые руки и ноги; и одевается она хорошо, особенно если вспомнить, как она мало на это тратит. Но в последнее время – странно – об этом своем теле (она остановилась полюбоваться на голландскую живопись), этом теле, от которого никуда не денешься, она забывает, просто забывает. И какое-то сверхстранное чувство, будто она невидима; невиданна; неведома, и будто другая выходила замуж, рожала, а она только идет и идет без конца в поразительном шествии вместе со всеми в толпе по Бонд-стрит; некая миссис Дэллоуэй; даже и не Кларисса; а миссис Дэллоуэй, жена Ричарда Дэллоуэя.

Ей страшно нравилась Бонд-стрит; Бонд-стрит ранним утром в июне; флаги веют; магазины; ни помпы, ни мишуры;

один-одинешенек рулон твида в магазине, где папа пятьдесят лет подряд заказывал костюмы; немного жемчуга; семга на льду.

– Вот и все, – сказала она, глядя в рыбную витрину. – Вот и все, – повторила она, задержавшись у магазина перчаток, где до войны можно было купить почти безукоризненные перчатки. А старый дядя Уильям всегда говорил, что леди узнается по туфелькам и перчаткам. Как-то утром, в разгар войны, он повернулся на постели к стене. Он сказал: «С меня хватит». Перчатки и туфельки; она помешана на перчатках; а родной дочери, ее Элизабет, и на туфли и на перчатки с высокой горы наплевать.

Наплевать, наплевать, думала она, идя по Бонд-стрит к цветочному магазину, где она покупала цветы, когда у нее бывал прием. Вообще-то больше всего Элизабет занимает ее песик. Сегодня весь дом варом пропах. Но уж лучше бедняжка Бом, чем мисс Килман; лучше чумка, и вар, и прочее, чем сидеть взаперти в душной спальне с молитвенником! Да чуть ли не что угодно лучше. Но, может быть, это, как Ричард говорит, возрастное, пройдет, все девочки через это проходят. Влюбленность такая. Хотя – зачем же именно в мисс Килман? Которой, конечно, несладко пришлось; и на это надо делать скидку, и Ричард говорит, она очень способная, по складу ума настоящий историк. Но, во всяком случае, они неразлучны. И Элизабет, ее родная дочь, ходит к причастию; а как полагается одеваться, как полагается вести

себя с гостями за обедом – это ее нисколечко не занимает, и вообще, она замечала, религиозный экстаз делает людей черствыми («идеи» разные – тоже), бесчувственными; мисс Килман, например, в лепешку расшибется во имя русских, будет морить себя голодом во имя австрийцев, а в обычной жизни она сущее бедствие, совершенный чурбан в этом зеленом своем макинтоше. Носит его не снимая; вечно потная; пяти минут не пробудет в комнате, чтоб ты не ощутила, насколько она возвышенна, а ты ничтожна; какая она бедная, а ты богатая; как она живет в трущобах, без подушки, или без кровати, или без одеяла, бог там ее знает без чего, и вся душа ее иссохла от обиды из-за того, что ее из школы уволили во время войны – бедное, озлобленное, убогое создание! Ведь не ее же ненавидишь, а самое понятие, воплощенное в ней, вобравшее, конечно, многое вовсе и не от мисс Килман; ставшее призраком, из тех, с которыми бьешься ночами, которые кровь из тебя сосут и мучат, тираны; а ведь выпади кость иначе, кверху черным, не белым, и она бы мисс Килман даже любила! Но только не на этом свете. Нет уж.

Ну вот, опять, спугнула все-таки злобное чудище! И теперь кончено, уже затрещали сучья, – стук копыт идет по занесенной листьями чаще, непроходимой чаще души; никогда нельзя быть спокойной и радоваться, вечно стережет и готова напасть эта тварь – ненависть; и, особенно после болезни, повадилась причинять боль, и боль отдается в хребте, и радость от красоты, дружбы, от того, что ей хорошо, ее лю-

бят и она восхитительно содержит дом, колеблется, шатается, будто и впрямь чудище подкапывается под корень, и вся эта сень довольства оборачивается сплошным эгоизмом. Ох эта ненависть!

Глупости, глупости, кричало сердце Клариссы, когда она толкала дверь в цветочный магазин Малбери.

Она вошла, легкая, высокая, очень прямая, навстречу сиянию на бляшке личика мисс Пим, у которой всегда были красные руки, будто она держала их вместе с цветами в холодной воде.

Тут были шпорник, душистый горошек, сирень и гвоздики, бездна гвоздик. Были розы; были ирисы. Ох – и она вдыхала земляной, сладкий запах сада, разговаривая с мисс Пим, которая была ей обязана и считала доброй, и она правда была к ней когда-то добра, очень добра, но было заметно, как она в этом году постарела, когда она кивала ирисам, розам, сирени и, прикрыв глаза, впитывала после грохота улицы особенно сказочный запах, изумительную прохладу. И как свежо, когда она снова открыла глаза, глянули на нее розы, будто кружевное белье принесли из прачечной на плетеных поддонах; а как строги и темны гвоздики и как прямо держат головки, а душистый горошек тронут лиловостью, снежностью, бледностью, будто уже вечер, и девочки в кисее вышли срывать душистый горошек, и розы на исходе пышного летнего дня с густо-синим, почти чернеющим небом, с гвоздикой, шпорником, арумом; и будто уже седьмой час, и

каждый цветок – сирень, гвоздика, ирисы, розы – сверкает белым, лиловым, оранжевым, огненным и горит отдельным огнем, нежным, четким, на отуманенных клумбах; и какие милые бабочки кружили над вишневым пирогом и сонным уже первоцветом!

И, переходя следом за мисс Пим от одного кувшина к другому, выбирая, «Глупости, глупости!» – говорила она себе все спокойнее, будто яркость, и запах, и красота, и признательность, и доверие мисс Пим несли ее, как волна, и смывали чудище-ненависть, смывали все; и волна несла ее самое, выше, выше, пока – ой! – на улице бахнул пистолетный выстрел!

– Господи, эти автомобили, – сказала мисс Пим, и бросилась к окну, и тотчас, прижимая к груди душистый горошек, обратила к Клариссе извиняющуюся улыбку, будто эти автомобили, эти шины – всецело ее вина.

Причиной страшного грохота, заставившего миссис Дэллоуэй вздрогнуть, а мисс Пим броситься к окну и потом извиняться, был автомобиль, который врезался в тротуар как раз напротив цветочного магазина Малбери. Перед глазами замерших, конечно, прохожих мелькнуло сверхзначительное лицо на фоне сизой обивки, но тотчас мужская рука проворно задернула шторку, после чего остался виден лишь сизый квадратик, не более.

И, однако, сразу же понеслись слухи от середины Бонд-стрит к Оксфорд-стрит, с одной стороны, а с другой – к

парфюмерии Аткинсона, понеслись невидно, неслышно, как облако, быстрое, легкое облако над холмами и, как облако, строгостью и тишиной наплывали на лица, за миг до того совершенно рассеянные. Теперь же тайна их коснулась крылом; их призывал голос власти; подле витал дух обожания, с разинутым ртом и завязанными глазами. Никто, однако, не знал, чье на фоне сизой обивки мелькнуло лицо. Принца Уэльского, королевы ли, премьер-министра? Чье лицо? Никто не знал.

Эдгар Дж. Уоткинс, перекинув через руку смотанную проводку, сказал громко, шутя, разумеется:

– Ето примерминистера машина.

Септимус Уоррен-Смит, застрявший на тротуаре, услышал его.

Септимус Уоррен-Смит, примерно лет тридцати, бледнолицый, носатый, в желтых ботинках, но в обтрепанном пальтеце и с такой тревогой в карих глазах, что кто на него ни взглянет, сразу тревожился тоже. Мир поднял хлыст; куда падет удар?

Все стало. Гремели моторы, как неровный пульс отдается во всем теле. Солнце невозможно пекло из-за того, что автомобиль застрял у цветочного магазина Малбери; старые дамы в верхнем этаже автобусов распускали черные зонтики; там и сям с веселым щелчком распахивался то зеленый зонтик, то красный. Миссис Дэллоуэй с охапкой душистого горошка в руках высунула в окно розовое маленькое личи-

ко, выражающее недоумение. Все смотрели на автомобиль. Септимус тоже смотрел. Мальчишки спрыгивали с велосипедов. Еще и еще машины попадали в затор. А тот автомобиль стоял с затянутыми шторками, и на шторках был странный рисунок, наподобие дерева, думалось Септимусу, и оттого, что все, все стягивалось у него на глазах к единому центру, будто что-то страшное совсем почти вышло уже на поверхность и вот-вот могло взметнуться костром, Септимус сжался от ужаса. Мир дрожал, и качался, и грозил взметнуться костром. Это из-за меня затор, подумал он. На него, наверное, смотрят, пальцами тычут; и неспроста его, значит, придавило, пригвоздило к тротуару? Только зачем?

– Пойдем, Септимус, – говорила его жена, маленькая, большеглазая, с личиком бледным и узким; итальяночка.

Но Лукреция и сама не могла оторвать глаз от автомобиля с деревцами на шторках. Может, это королева? Королева за покупками едет? Шофер что-то открыл, что-то повертел и захлопнул, а потом снова сел на свое место.

– Пошли, – сказала Лукреция.

Но ее муж – ведь они четыре, нет, пять лет уже как женаты – топнул ногой, дернулся и сказал: «Ладно!» – так зло, будто она к нему пристает.

Люди заметят; люди увидят. Люди, думала она, разглядывая толпу, уставившуюся на автомобиль; англичане – со своими детишками и лошадками, в своих этих костюмах, которые, кстати, ей нравились; но они теперь стали именно «лю-

ди», потому что Септимус сказал: «Я покончу с собой», а такое нельзя говорить. Вдруг услышат! Она разглядывала толпу. «Помогите! Помогите! – хотелось ей крикнуть мальчишкам в мясной лавке и женщинам. – Помогите!» А еще осенью они с Септимусом стояли на набережной Виктории под одним плащом, Септимус читал газету, не слушал, и она выхватила у него газету и расхохоталась в лицо старику, который их видел! А беду вот скрываешь. Надо его утащить в какой-нибудь парк.

– Давай перейдем, – сказала она.

Она имела право на его руку, пусть у него и не осталось никаких чувств. Она, наивная, юная, двадцатичетырехлетняя, ради него покинула родину и друзей – он не должен ее обижать.

Автомобиль же с затянутыми шторками и загадочной непроницаемостью проследовал к Пиккадилли, по-прежнему под упорными взорами, по-прежнему овевая лица по обеим сторонам улицы темным ветерком благоговенья – к принцу ли, королеве, премьер-министру, не знал никто. Всего трое и всего-то секунду видели то лицо. Даже и насчет пола возникли уже разногласия. Но определенно – сама слава восседала в автомобиле, и слава за шторками следовала по Бонд-стрит, совсем рядышком с простыми людьми, которым в первый и последний раз в жизни привелось быть бок о бок с величием Англии, символом государства, который смогут опознать любопытные археологи, роясь в наших развалинах

и находя только кости, да обручальные кольца вперемешку с прахом, да золотые коронки на несчетных прогнивших зубах, там, где Лондон сейчас, и утро, среда, и толпится народ на Бонд-стрит. Лицо же в автомобиле смогут опознать и тогда.

Вероятно, королева, думала миссис Дэллоуэй, выходя от Малбери с цветами. Да, королева. И на лице ее застыло сверхдостойное выражение, пока она стояла на солнце возле магазина и автомобиль с затянутыми шторками медленно проплывал мимо. Королева отправляется куда-то в больницу. Королева открывает базар, думала Кларисса.

Шум для такой рани был удивительный. «Лордз», «Аскот», «Херлингем». Да что же это? – удивлялась Кларисса, когда перекрыли движение. Английские буржуа средней руки, сидевшие в профиль к ней во втором этаже автобусов со свертками, зонтиками и – да, в эту жару – в мехах, представляли собой, Кларисса считала, смехотворное, невозможное, бог знает какое, просто непостижимое зрелище. И чтобы королеву задерживали, чтобы королеве не давали проехать! Кларисса застряла по одну сторону Брук-стрит; сэр Джон Бакхэст, старый судья, – по другую, и тот автомобиль был как раз между ними (сэр Джон давным-давно постиг, что похвально, что предосудительно, и ему понравилась хорошо одетая женщина), когда шофер, чуть-чуть наклоняясь вперед, что-то сказал или показал полицейскому, и тот козырнул, поднял руку, тряхнул головой, сдвинул автобус в

сторону, и автомобиль тронулся. Медленно, почти бесшумно он двинулся с места.

И Кларисса догадалась; Кларисса все поняла; она разглядела что-то белое, волшебное, круглое в руке у шофера, диск, с оттиснутым именем – королевы, премьер-министра, принца Уэльского? – прожигающим путь себе собственным блеском (автомобиль делался меньше, меньше, скрывался у Клариссы из глаз), чтоб затмевать сверкание люстр, и звезд, и дубовых листьев, и прочего, и Хью Уитбреда, и цвет английского общества – нынче вечером в Букингемском дворце. И у самой Клариссы тоже сегодня прием. Лицо ее чуть напряглось. Да, она будет сегодня встречать гостей, стоя на верху лестницы. Автомобиль исчез, но следом легкая рябь побежала по магазинам перчаток и шляпок, по магазинам мужских костюмов вдоль тротуаров Бонд-стрит. На целых тридцать секунд все головы замерли, дружно склонившись в одном направлении – к окнам. Выбирая перчатки – какие взять, до локтя ли, выше ли, лимонные ли, бледно-серые? – на повороте фразы замерли дамы. Нечто произошло. До того пустячное в каждом отдельном случае, что и точнейшему математическому устройству, улавливающему земные толчки даже в далеком Китае, ничего бы тут не отметить; в целом, однако ж, огромное нечто; волнующее; ибо во всех магазинах – мужских ли костюмов, перчаток ли – незнакомые люди посмотрели друг другу в глаза; подумав о мертвых; о флаге; о Великой Британии. В кабаке на задворках какой-то

житель колонии недобрым словом задел Виндзоров, что повело к перебранке, а от нее к разбитым пивным кружкам и общей драке; и шум бросился через дорогу и странно ударил в уши девиц, покупавших белое, в белой мережке белье себе к свадьбе. Волнение, оставленное автомобилем сперва на поверхности, постепенно тем самым проникало в глубины.

Автомобиль же пересек Пиккадилли и свернул на Сент-Джеймс-стрит. Рослые господа, осанистые господа, элегантные господа во фраках и белых галстуках, господа с гладко зачесанными волосами и с трудно определимыми целями стоявшие в оконной нише «Уайтса», поддев сзади хвосты своих фраков и глядя на улицу, угадали душой, что мимо скользит слава Англии, и бледный отблеск бессмертия пал на их лица, как пал он на лицо Клариссы Дэллоуэй. Тотчас они стали еще осанистей, руки опустили по швам, и казалось, вот-вот они бросятся на жерла вражеских пушек во имя своего властелина, как некогда делали предки. Белые бюсты и столики в глубине, украшенные номерами «Татлера» и бутылками содовой, их точно подкрепляли и одобряли; точно воплощали колыхание нив и раздолье усадеб; точно отдавали жужжание автомобиля, как отдает звучащая галерея одинокий голос, помножив его на гул всей громады собора. Мисс Мол Прэт, в шали, стоя на панели с цветами, пожелала всего доброго милому мальчику (это же, ясное дело, был принц Уэльский) и даже бросила бы букетик роз на Сент-Джеймс-стрит (а ведь это целая кружка пива!) просто так, от весе-

лости и от презрения к бедности, – если б взор констебля вовремя не унял верноподданного порыва старой ирландки. Часовые Сент-Джеймсского дворца взяли на караул; полицейский у дворца королевы Александры был ими доволен.

Меж тем у ворот Букингемского дворца собралась кучка народа. Все люди бедные, они скучливо, но уверенно ждали; поглядывали на дворец с реющим флагом, на величаво высящуюся Викторию; похваливали ее уступчики и каскады, ее герани; пристально глядя на Мэлл, вдруг изливали чувства на какую-нибудь машину; убедившись, что зря обласкали обывателя за рулем, тотчас брали излитые чувства назад и копили их, пропуская машины одну за другой без внимания; и все время слухи бродили по жилам и отдавались томлением в чреслах при мысли о том, что на них упадет царственный взор; им кивнет королева; им улыбнется принц; при мысли о дивной жизни, свыше дарованной королям; о конюших, о реверансах; о старинном кукольном домике королевы; о том, что принцесса Мэри – нà поди! – вышла за какого-то англичанина, а принц – ах, принц! – он, говорили, вылитый старый король Эдуард, только субтильней. Принц жил в Сент-Джеймсском дворце, но почему б ему утром не наведаться к матери?

Это Сара Блечли говорила, баюкая своего малыша и покачивая ногой, будто она у себя в Пимлико у своей каминной решетки, однако не спуская с Мэлла глаз, а Эмили Коутс окидывала взглядом окна дворца и думала про горничных,

сколько их там, горничных, думала про комнаты, сколько их там, комнат. Меж тем толпа увеличилась благодаря одному господину со скотч-терьером и нескольким личностям без определенных занятий. У маленького мистера Боули (сам он обитал в Олбани, душа же его была опечатана сургучом, но вдруг распечатывалась ужасно некстати от подобных вещей; бедные женщины ждут, когда проедет их королева, бедные-бедные женщины, милые детки-сиротки, вдовы, война – ох уж эта война!) в глазах просто стояли слезы. Теплый ветер, добродушно пройдясь по легким деревьям Мэлла, мимо бронзовых героев, всколыхнул некий флаг в британской груди мистера Боули, и он поднял шляпу, когда автомобиль свернул на Мэлл, и пока автомобиль приближался, он держал ее высоко над головой, и бедные матери Пимлико беспрепятственно жались к нему; он стоял очень прямо. Автомобиль подъезжал.

Вдруг миссис Коутс задрала голову. Вой аэроплана зловеще ввинчивался в уши. Вот аэроплан взмыл над деревьями, и он оставлял позади белый дым, и дым этот вился, клубился, он, ей-богу, что-то писал! Выводил по небу буквы! Все задрали головы.

Вот аэроплан упал вниз, взмыл ввысь, он делал петли, он парил, он взмывал, он падал и все время, все время, все время сзади плотное кружево дыма свивалось, сплеталось, выводило по небу буквы. Но какие же буквы? «Б», что ли?… А потом «Р»? Всего на секунду они застывали и сразу расплы-

вались, и таяли, и стирались с неба, и аэроплан летел себе дальше и на новом небесном куске уже снова чертил «Б»… и «Р» и «Ю»…

– Крем, – произнесла миссис Коутс благоговейным, пресекшимся голосом, устремив глаза вверх, а малыш у нее на руках, белый и тихий, тоже устремлял глаза вверх.

– Мокко, – пробормотала миссис Блечли, как сомнамбула. Недвижно держа шляпу над головой, мистер Боули смотрел в небо. Вдоль всего Мэлла люди стояли и смотрели в небо. Они смотрели, а весь мир словно замер, и небо перечеркнул лет спугнутых чаек, сперва одна предводительствовала, потом другая, и по этой немыслимой тишине, по бледности и чистоте одиннадцать раз ударили колокола, и звон таял, не долетая до чаек.

Аэроплан кружил, качался, выделывал черт-те что, легко, вольно, как конькобежец…

– Это же «и», – сказала миссис Блечли…

или танцор…

– Это же ириски, – пробормотал мистер Боули… (автомобиль въехал в ворота, но никто на него не взглянул), и выталкивал дым, и несся все дальше, дальше, и дым таял и стал уже оторочкой белых раскидистых облаков.

Исчез. Скрылся за облаками. Ни звука. Облака, на которых висели буквы «Р», «О» или «Ю», плыли и плыли, будто посланные с Запада на Восток с чрезвычайно важным известием, каким – никогда не выяснится, но все равно чрезвы-

чайно важным известием. Потом – вдруг – как поезд вырывается из туннеля, аэроплан выскочил из-за облаков, и снова вой ввинчивался в уши тех, кто стоял на Мэлле, в Грин-Парке, на Пиккадилли, на Риджент-стрит, в Риджентс-Парке, – и сзади вился дым, и аэроплан падал, взмывал и одну за другой выводил буквы – но что за слово он выводил?

Лукреция Уоррен-Смит, сидя рядом с мужем в Риджентс-Парке на Главной аллее, посмотрела вверх.

– Смотри-ка, смотри-ка, Септимус! – вскрикнула она. Доктор Доум ей сказал, чтоб она отвлекала мужа (хоть с ним ничего абсолютно серьезного, просто он немного расклеился), отвлекала внешними впечатлениями.

Ну да, подумал Септимус, глядя вверх, они мне сигналят. Сигналы не выражались в словах, то есть он пока не разбирал языка; но она была достаточно внятна – красота, божественная красота, – и слезы застилали ему глаза, пока он смотрел, как дымные слова истаивают, и расползаются в сини, и в неизреченной своей благости, по милой своей доброте дарят ему образ за образом немыслимой красоты, и сигналами обещают безвозмездно, навечно – только смотри – снабдить его красотою, еще красотою! Слезы катились у него по щекам.

Да, это ириски. Это реклама ирисок, сказала Реции присевшая рядом няня с ребенком. Они разобрали вместе: «и»… «р»… «и»…

– К… Р… – сказала няня, и Септимус услышал, как у са-

мого уха его «Ка» и «Эр» она вывела низко, нежно, точно спелые органные ноты, но с хрипотцою, точно стрекот кузнечика, который восхитительно отдался в хребте, послал звуковые волны к мозгу, и там они расплескались. Да, удивительное открытие – что человеческий голос в определенных атмосферных условиях (прежде всего надо рассуждать научно, только научно!) может пробуждать к жизни деревья! Слава Богу, Реция страшно прижала ему ладонью колено, придавила к скамье, не то бы от того возбуждения, с каким вязы теперь вздымались и опадали, вздымались и опадали, горя всеми листьями сразу, все окатывая то редеющим, то загустевающим цветом от сини до зелени полой волны, будто плюмажи на холках коней, будто перья на шляпках, так гордо, так величаво они вздымались, они опадали, что недолго и спятить. Но не спятит он, дудки. Надо только закрыть глаза. Не смотреть.

Но они кивали; листья были живые; деревья – живые. И листья, тысячей нитей связанные с его собственным телом, овевали его, овевали, и стоило распрямиться ветке, он тотчас с ней соглашался. Воробьи, вздымаясь и опадая фонтанчиками, дополняли рисунок – белый, синий, расчерченный ветками. Звуки выстраивались в рассчитанной гармонии; и паузы падали с такой же весомостью. Плакал ребенок. Явственно в отдалении звенел рожок. Все вместе взятое означало рождение новой религии…

– Септимус, – сказала Реция. Он страшно вздрогнул. Как

бы люди не заметили. – Я до фонтана и обратно, – сказала она.

Больше она не могла терпеть. Хорошо доктору Доуму говорить, что с ним ничего серьезного. Уж лучше б он умер! Невозможно сидеть с ним рядом, когда он смотрит вот так и не видит ее, и все он делает страшным – деревья, и небо, и детишек, которые катают тележки, свистят в свистульки и шлепаются, – все, все из-за него страшно. И не покончит он с собой; и никому ведь не скажешь: «Септимус слишком много работал, он устал» – и больше ничего ведь не скажешь, даже своей родной матери. Когда любишь – делаешься такой одинокой, думала она. И никому ведь не скажешь, теперь не скажешь и Септимусу, и, оглянувшись, она увидела, как он сидит – скорчился, в своем потрепанном пальтеце, смотрит. Просто трусость, когда мужчина говорит, что покончит с собой, но ведь Септимус воевал; он был храбрый; а это разве Септимус? Она кружевной воротничок надела, она надела новую шляпку, а этот и не заметил; ему без нее хорошо. Ей без него никогда не может быть хорошо! Никогда! Эгоист. Все мужчины такие. И вовсе он не болен. Доктор Доум говорит: у него ничего абсолютно серьезного.

Она протянула и разглядывала свою руку. Вот! Обручальное кольцо чуть не свалилось – до того она похудела. Ей – вот кому плохо. И никому ведь не скажешь.

Далеко осталась Италия, белые дома и комната, где они с сестрами делали шляпки, и шумные улицы, где каждый ве-

чер толпится народ и гуляют, смеются, не то что эти калеки на колесиках, которые пялятся на противные, растыканные по горшочкам цветы.

– Посмотрели б, какие сады в Милане! – сказала она громко. Кому?

Никого же нет. И слова загасли. Так гаснет ракета; искры чуть поцарапают ночной свод и сдаются тьме, и тьма опускается, проливается на очертания домов и башен; в ней затихают и тонут бледные, печальные скаты. Но вот они все исчезли, а ночь по-прежнему ими полна; утратив краски, растеряв окна, они тем настойчивей существуют и выдают ночи то, чего ни за что не понять простодушной открытости дня: тревогу и страхи вещей, собравшихся во тьме, теснящихся во тьме, томящихся по той радости, которую приносит рассвет, когда моет белым и серым стены, метит каждую оконницу, поднимает с пастбищ туман и обнаруживает на них мирное рыжее стадо; и все сызнова себя дарит глазам; сызнова существует. «Я одна, одна!» – крикнула она фонтану Риджентс-Парка (глядя на индейца и его крест); наверно, как в полночь, когда заблудились вехи и земля принимает древний свой облик, в каком видели ее, высадясь, римляне: туманная, и горы еще безымянны, и реки петляют неведомо где – такая была тьма и в душе у Реции; и вдруг, будто она стояла на доске, и оттолкнулась, и доска подпрыгнула – она сказала себе, что она его жена, они давно поженились в Милане, и никогда, никогда она никому не скажет,

будто он сумасшедший! Доска подпрыгнула, а она стала падать, вниз, вниз. Он ушел, подумала она, ушел, как грозился, – он покончит с собой, бросится под грузовик! Но нет; вот он; сидит, один, в своем потрепанном пальтеце, скрестил ноги, смотрит, говорит вслух.

Люди не смеют рубить деревья! Бог есть. (Свои откровения он записывал на обороте конвертов.) Изменить мир. Никто не убивает из ненависти. Да будет известно (он и это записал). Он обождал. Вслушался. Воробушек с ограды напротив прочирикал «Септимус. Септимус» раз пять и пошел выводить и петь – звонко, пронзительно, по-гречески о том, что преступления нет, и вступил другой воробушек, и на длящихся пронзительных нотах, по-гречески, они вместе, оттуда, с деревьев на лугу жизни за рекою, где бродят мертвые, пели, что смерти нет.

Вот – мертвые совсем рядом. Какие-то белые толпились за оградой напротив. Он боялся смотреть. Эванс был за оградой!

– Ты что говоришь? – вдруг спросила Реция и села рядом.

Опять перебила! Вечно она мешает.

– Подальше от людей – надо скорей уйти подальше от людей, – так он сказал (и вскочил). Надо было уйти туда, где под деревом стояли стульчики, и парк плыл длинной зеленой полосой под синеющим куполом с дымным розовым пятном посредине, а вдали неровным валом в дыму горели дома, и вился шум улицы, а направо бурые звери тянули долгие шеи

над оградою зоологического сада и тявкали, выли. Там и сели, под деревом.

– Погляди, – молила она, показывая на группку мальчишек, они шли с крикетными битами, и один все шаркал, и вертелся на каблуке, и шаркал, будто клоуна изображал в мюзик-холле.

– Погляди, – молила она, потому что доктор Доум ей сказал, чтоб отвлекала его внешними впечатлениями, водила в мюзик-холл, посылала играть в крикет – это прекрасная игра, говорил доктор Доум, игра на свежем воздухе, игра в самый раз для ее мужа.

– Погляди, – повторяла она.

Погляди, взывало к нему невидимое через посредство этого голоса, к нему, величайшему из людей, Септимусу, недавно взятому из жизни в смерть, к Господу, пришедшему обновить человечество и легшему на все, как покров, как снежный покров, подвластный лишь солнцу, к неизбывному страдальцу, козлу отпущения, страстотерпцу, но не надо, нет, нет – и он отпихнул рукою вечное страдание, вечное одиночество.

– Погляди же! – повторяла она, чтобы он не говорил сам с собою на людях.

– Погляди же! – молила она. Но на что тут было глядеть? Только овцы одни. Вот и все.

Как пройти к метро «Риджентс-Парк»? Не могут ли они ей сказать, как пройти к метро «Риджентс-Парк», хотела

знать Мейзи Джонсон. Она только позавчера из Эдинбурга приехала.

– Нет, нет, не так – вон туда! – крикнула Реция, оттесняя ее в сторону, чтоб не видела Септимуса.

Оба странные, подумала Мейзи Джонсон. Все тут было ужасно странно. В Лондоне она была первый раз, приехала служить в конторе у своего дяди на Леденхолл-стрит и пошла утром по Риджентс-Парку, и эти двое на стульчиках прямо ее напугали: женщина, видимо, иностранка, он – не в себе; и, доживи она даже до старости, все равно ее память будет звенеть о том, как она шла в одно прекрасное утро по Риджентс-Парку пятьдесят лет назад. Ведь ей исполнилось всего девятнадцать, и наконец-то она дорвалась до Лондона; но как удивили ее эти двое, у которых она спросила дорогу, как девушка вскочила, как махала рукой, а он – ужасно странный какой-то: наверно, поссорились; навек решили расстаться; да, что-то у них определенно стряслось; ну, а это все (она опять вышла на Главную аллею): каменные чаши, выстроившиеся цветы, старики и старухи, большей частью калеки, в креслицах – все это тоже после Эдинбурга было странно. И присоединясь к тихо плетущейся, пусто поглядывающей, обласканной ветром компании – чистились на ветках белочки, бились, порхали за крошками воробьиные фонтанчики, псы изучали ограду, изучали друг друга, а нежный, теплый ветер всех овевал и оставлял в пристальных, неудивленных глазах, какими они принимали жизнь, что-то

нелепое и отрешенное, – Мейзи Джонсон чуть не крикнула «ох!» (тот молодой человек всерьез напугал ее; она поняла – определенно там что-то стряслось).

Мейзи хотелось кричать: «Ужас! Ужас!» (Вот уехала от своих; ведь говорили же ей, предупреждали.)

Зачем она не осталась дома! И Мейзи заплакала, ухватясь за железную шишечку.

Девчонка, думала миссис Демпстер (которая сберегала крошки для белок и часто завтракала в Риджентс-Парке), пока не знает, что к чему; да, оно лучше – быть покрепче, и не суетиться, и не ждать от жизни уж чересчур много. Перси пьет. А все равно лучше сына иметь, думала миссис Демпстер. Ей несладко пришлось, и ей было просто смешно глядеть на эту девчонку. Ладно, вот выйдешь замуж. Ты из себя-то ничего, думала миссис Демпстер. Выйдешь замуж, тогда и узнаешь. Стряпня, то да се. У каждого мужика своя повадка. Знать бы все заранее – я б согласилась, а? – думала миссис Демпстер, и ей очень хотелось шепнуть кое-что Мейзи Джонсон и почувствовать на изношенном, старом лице поцелуй; чтоб ее поцеловали. Из жалости. Да, тяжелая была жизнь, думала миссис Демпстер. Чего только не отняла. Радость, внешность и ноги. (Она подтянула под юбку культи.)

Внешность, думала она горько. Все дребедень, моя милочка. Есть, да пить, да вместе спать в добрые и черные дни; тут не до внешности; но если желаешь знать, Кэрри Демпстер ни за что бы не поменялась ни с кем, ни за какие коврижки. Ей

только хотелось, чтоб ее пожалели. Пожалели за то, что все миновало. Чтоб Мейзи Джонсон ее пожалела, которая стояла возле клумбы с цветочками.

Ах да – аэроплан! Миссис Демпстер всегда хотелось увидеть дальние страны. У нее был племянник-миссионер. (Аэроплан бог знает чего выделывал, кувыркался.) Она всегда далеко заплывала в Маргейте, конечно, не так чтоб совсем не видно с берега, но она не терпела женщин, которые воды боятся. Он мчался и падал. У нее прямо дух захватило. Опять вверх! Там прекрасный парень сидел, миссис Демпстер об заклад была готова побиться, и все дальше, дальше летел аэроплан, летел и таял – все дальше, дальше; проплыл над Гринвичем, над всеми мачтами; над островком серых церквей, Святого Павла и прочих, туда, где за Лондоном лежат поля, и темные стоят леса, и дрозд-ловкач прыгает дерзко, глядит зорко и – хвать улитку об камень – раз-два-три!

Все дальше, дальше летел аэроплан, пока не стал яркой искоркой; стремлением; сутью; символом (как представлялось мистеру Бентли, который вовсю трудился у себя в Гринвиче, подстригал машинкой газон) души человеческой; ее вечного стремления, думал мистер Бентли, топчась вокруг кедра, вырваться за пределы тела, своего обиталища, с помощью мысли – Эйнштейн, теории, математика, законы Менделя, – аэроплан же летел и летел.

И пока жалкий, болезненного вида человек с кожаной сумкой мешкал на ступенях Святого Павла и размышлял, не

войти ли ему, ибо в соборе ждала его благодать и гробницы, знамена, знаки побед не над армиями, он размышлял, но над тем несчастным духом правдолюбия, из-за которого я дошел до такой жизни, он размышлял, и вдобавок собор предлагает компанию, зовет присоединиться к сообществу; к нему же принадлежат великие мужи; ради него принимали смерть мученики; почему б не войти, он размышлял, не поставить набитую листовками сумку подле алтаря, подле креста, подле символа того, что взмыло над поисками, над вопросами, над толчением слов и стало чистым духом, бестелесным, высоким, – почему б не войти? – и пока он так мешкал, аэроплан пролетел над Ладгейт-сёркэс.

Странно, тихо он летел. Ни один звук не взвивался над гудением улицы. Будто неуправляемый лет, будто аэроплан сам летел куда вздумается. И вот – вверх, вверх, прямо вверх, как в восторге, как в забытьи, вверх потек белый дым, клубясь, выводя «И», «Р», «И».

– И на что они смотрят? – сказала Кларисса Дэллоуэй отворившей дверь горничной.

В холле была прохлада склепа. Она подняла ладонь к глазам, горничная затворила дверь, и под шум юбок своей Люси миссис Дэллоуэй вступила в дом, как отрекшаяся от мира монахиня вступает под своды монастыря и вновь ощущает привычные складки покрова и молитвенный дух. На кухне насвистывала кухарка. Стучала пишущая машинка. Это бы-

ла ее жизнь, и, склонясь к столику в холле, она будто сразу утешилась и очистилась, и, нагибаясь к блокноту, куда заносилось, кто и с чем звонил, она говорила себе, что такие минуты – почки на дереве жизни, это цветение тьмы (будто только ради ее глаз расцвела сейчас сказочной красоты роза); нет, в Бога она, конечно, совершенно не верила; но тем более, думала она, берясь за блокнот, нужно платить благодарностью слугам, да и собакам, и канарейкам, ну, а главное, мужу, Ричарду, он основа, на которой все это держится – веселые звуки, зеленые отблески и свист кухарки (миссис Уокер была ирландка и свистела на кухне день-деньской), нужно, нужно платить из тайного вклада драгоценных минут, думала она, поднимая блокнот со столика, покуда Люси, стоя рядом, пыталась ей втолковать, объяснить, что:

– Мистер Дэллоуэй, мэм…

Кларисса читала в блокноте:

«Леди Брутн хотела бы знать, будет ли мистер Дэллоуэй сегодня завтракать с нею».

– …Мистер Дэллоуэй, мэм, просил вам передать, что он сегодня не будет завтракать дома.

– Ах так! – сказала Кларисса, и Люси, кажется, разделила ее разочарование (но не муку); ощутила их сродство; поняла намек; подумала про то, как они любят, эти господа; решила, что сама она ни за что не будет страдать; и, приняв из рук миссис Дэллоуэй зонтик, как священный меч, оброненный богиней на славном поле битвы, торжественно отнесла

к подставке.

– Не страшись, – сказала себе Кларисса. – Злого зноя не страшись. – Ибо леди Брутн пригласила Ричарда на ленч без нее, и от этого удара сбилась и дрогнула драгоценная минута, как дрожит от удара лодочного весла куст на дне; и сама Кларисса сбилась; она дрогнула.

Милисент Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила. Грубой ревности не поссорить ее с Ричардом. Но она страшилась самого времени, и на лице леди Брутн, будто на высеченном по бесчувственному камню циферблате, она читала, что истекает жизнь; что с каждым годом отсекается от нее доля; что остаточная часть теряет способность растягиваться и втягивать цвета и вкус и тоны бытия, как бывало в юности, когда она, входя, наполняла собою комнату и замирала на пороге, будто она – пловец перед броском, а море внизу темнеет, и оно светлеет, и волны грозят разверзнуть пучину, но только нежно пушатся по гребешкам и катят, и тают, и жемчугом брызг одевают водоросли.

Она положила блокнот на столик. И побрела вверх по лестнице, забыв руку на перилах, будто она только что ушла с приема, где друзья по очереди зеркалом отражали ее лицо и эхом голос, и вот она затворила за собою дверь и осталась один на один со страшной ночью или, если уж на то пошло, под пронизывающим взглядом равнодушно суетливого июньского утра, которое для других держало нежный

накал роз, да, для других, для других; она это чувствовала, замерев на лестнице у распахнутого окна, куда неслись хлопки штор и собачий лай; и пока сама она ощущала себя сморщенной, старой, безгрудой, несся гул, дребезжание и цветение утра – оттуда, с воли, не про нее, вне ее тела и рассудка, очевидно, никуда не годного, раз леди Брутн, славившаяся своими увлекательными ленчами, ее не пригласила.

Как уходящая от мира монахиня, как девочка, исследующая башню, она поднялась по лестнице, постояла у окна, вошла в ванную. Здесь был зеленый линолеум и тек кран. Посреди кипения жизни здесь была пустынность; был чердак. Женщинам приходится снимать с себя уборы; в полдень им надо разоблачаться. Она пронзила шляпной булавкой подушечку и положила свою желтоперую шляпку на кровать. Простыня, тугая и чистая, несмятой белой полосой тянулась от края к краю. Все у́же и у́же будет ее кровать. Свеча обгорела до половины, и она почти кончила мемуары барона Марбо. Вчера допоздна читала об их отступлении из Москвы. Парламент заседал страшно долго, и Ричард уговорил ее после болезни спать тут, чтоб ее не тревожить. А ей ведь и в самом деле больше нравилось читать об отступлении из Москвы. И он это понял. И вот у нее комната на чердаке; узкая кровать; и, читая тут допоздна, перебарывая бессонницу, она не могла рассеять девства, выстоявшего роды и прилепившегося к телу, как простыня. Привлекши Ричарда обаянием, потом она вдруг обманывала его надежды, пойдя на

поводу у этого холодного духа – тогда, например, на реке, в роще под Кливлендом. И потом еще в Константинополе, и еще, и еще. Она понимала, чего ей не хватает. Дело не в красоте. И не в уме. А в том главном, глубинном, теплом, что пробивается на поверхность и рябит гладь холодных встреч мужчины и женщины. Или женщин между собою. Ведь бывает и так. Правда, тут что-то другое, не совсем понятное и ненужное ей, от этого ее защищала природа (которая всегда права); но когда какая-нибудь женщина, не девочка, а именно женщина ей изливалась, что-то ей говорила, часто даже какие-то глупости, она вдруг подпадала под ее прелесть. Из-за сочувствия, что ли, или из-за ее красоты, или потому, что сама она старше, или просто из-за случайности – дальний какой-нибудь запах, скрипка за стеной (поразительно, как иногда действуют звуки), но вдруг она понимала, что́, наверное, чувствовал бы мужчина. Только на миг; но и того довольно; это было откровение, внезапное, будто краснеешь, и хочешь это скрыть, и видишь, что нельзя, и всей волей отдаешься позору, и уже не помнишь себя, и тут-то мир тебя настигает, поражает значительностью, давит восторгом, который вдруг прорывается и невыразимо облегчает все твои ссадины и раны. Это как озарение; как вспышка спички в крокусе; все самое скрытое освещалось; но вот опять близкое делалось дальним, понятное – непонятным. И уже он пролетал, тот миг. В полном несогласии с теми мигами – узкая кровать (вот она положила на нее шляпку), и барон Марбо, и обго-

релая свеча. Часто она лежит без сна под скрип половиц, и вдруг потухает освещенный дом, и, подняв голову, она слышит, как Ричард долго-долго, чтоб не стукнула, закрывает дверь, пробирается по лестнице в носках, но бухает грелку и чертыхается! Как же ей всегда бывает смешно!

Да, так насчет любви (думала она, убирая плащ), насчет влюбленности в подруг. Например, Салли Сетон; ее отношение к Салли Сетон когда-то. Что же это еще, если не любовь?

Она сидела на полу – это было ее первое впечатление от Салли, – сидела на полу, обняв колени, и курила. Но где же? У Мэннингов? Или у Кинлох-Джонсов? Во всяком случае, где-то в гостях (только забыла где), потому что, совершенно же точно, она спросила у кого-то, с кем разговаривала: «А это кто?» И он сказал, и сказал, что родители Салли не ладят (она еще содрогнулась в душе: родители – и вдруг ссорятся!). Но весь вечер она не могла оторвать глаз от Салли. Салли была красавица, и того удивительного типа, какой больше всего нравился Клариссе – темная, большеглазая, – и была черточка в этом лице, которой, сама ею не обладая, особенно Кларисса завидовала – какая-то самозабвенность, будто она что угодно может сказать, что угодно выкинуть; свойство, более частое в иностранках, чем в английских женщинах. Салли всегда говорила, что у нее в жилах течет французская кровь, предок был при дворе у Марии-Антуанетты, кончил на эшафоте, еще оставил какой-то перстень с рубином. Да, и тем же летом, кажется, она вдруг ни с того ни с сего на ночь глядя

нагрянула в Бортон без гроша в кармане и до того переполошила бедную тетю Елену, что та потом так ее и не простила. Дома у нее, оказывается, разыгрался скандал, чудовищный. Она нагрянула к ним положительно без гроша в кармане, заложив брошку, чтоб добраться. Выбежала из дому сама не своя. Они болтали по ночам до утра. Если б не Салли, она б еще долго не знала, как она оторвана от жизни в своем Бортоне. Она была совершенная невежда, что касается пола, социальных проблем. Своими глазами она видела, как упал замертво косарь на лугу, видела только что отеливших коров. Но тетя Елена не допускала рассуждений ни на какие темы. (Когда Салли дала ей Уильяма Морриса, его пришлось обернуть бумагой.) И они сидели вдвоем у нее в спальне, в мансарде, сидели часами и говорили о жизни, говорили о том, как они переделают мир. Они собирались основать общество по борьбе с частной собственностью, даже в самом деле письмо сочинили какое-то, только не отослали. Конечно, все это Салли, но она и сама скоро зажглась, читала Платона в постели до завтрака; читала Морриса и Шелли тоже читала.

И что за поразительная сила – одаренности, личности. Какие чудеса, например, вытворяла Салли с цветами. В Бортоне вдоль всего стола всегда вытягивались в ряд чопорные, узкие вазочки. Салли отправлялась в сад, охапками рвала штокрозы, далии, – наобум сочетая никогда не виданные вместе цветы, – срезала головки и пускала плавать в широких ча-

шах. И это просто ошеломляло – особенно на закате, когда входишь ужинать. (Тетя Елена считала, конечно, что непозволительно так дурно обращаться с цветами.) А потом она как-то забыла губку и голая пронеслась по коридору. Старуха горничная, эта злющая Эллен Аткинс, потом весь день ворчала: «Вдруг бы кто из молодых людей увидел…» Да, она многих возмущала. Папа говорил: неряха.

Странно, ведь вот как вспомнишь, в отношении к Салли была особенная чистота, цельность. К мужчинам так не относишься. Совершенно бескорыстное чувство, и оно может связывать только женщин, только едва ставших взрослыми женщин. А с ее стороны было еще и желание защитить; оно шло от сознания общей судьбы, от предчувствия чего-то, что их разлучит (о замужестве говорилось всегда как о бедствии), и оттого эта рыцарственность, желание охранить, защитить, которого с ее стороны было куда больше, чем у Салли. Потому что та была просто отчаянная, вытворяла бог знает что, каталась на велосипеде по парапету террасы, курила сигары. Невозможная, просто невозможная. Но зато ведь и обаяние само, во всяком случае в глазах Клариссы; раз както, она запомнила, у себя в спальне, в мансарде, прижимая грелку к груди, она стояла и вслух говорила: «Она здесь, под этой крышей! Она под этой крышей!»

Нет, сейчас эти слова – пустой звук. Даже тени былых чувств не могли они вызвать. Но она же помнит, как холодела она от волнения, в каком-то восторге расчесывая волосы

(вот к ней и начало возвращаться то, прежнее, покуда она вынимала шпильки, выкладывала на туалетный столик, стала расчесывать волосы), а красный закат зигзагами расчерчивали грачи, и она одевалась, спускалась по лестнице, и, пересекая холл, она тогда думала: «О, если б мог сейчас я умереть! Счастливее я никогда не буду». Это было ее чувство – чувство Отелло, и она, конечно, ощущала его так же сильно, как Отелло у Шекспира, и все оттого, что она спускалась, в белом платье, ужинать вместе с Салли Сетон.

Она была в красном, газовом – или нет? Во всяком случае, она горела, светилась вся, будто птица, будто пух цветочный влетел в столовую, приманясь куманикой, и дрожит, повиснув в шипах. Но самое удивительное при влюбленности (а это была влюбленность, ведь верно?) – совершенное безразличие к окружающим. Куда-то уплывала из-за стола тетя Елена. Читал газету папа. Питер Уолш тоже, наверное, был, и старая мисс Каммингс; был и Йозеф Брайткопф, был, конечно, бедный старикан, он приезжал каждое лето и гостил неделями, якобы чтоб читать с ней немецкие тексты, а сам играл на рояле и пел песни Брамса совершенно без голоса.

Все это составляло лишь фон для Салли. Она стояла у камина и чудесным своим голосом, каждое произносимое слово обращающим в ласку, говорила с папой, таявшим против воли (он так и не сумел простить ей книжку, которую она взяла почитать и забыла под дождем на террасе), а потом

вдруг сказала: «Ну можно ли сидеть в духоте!» – и все вышли на террасу, стали бродить по саду туда-сюда. Питер Уолш и Йозеф Брайткопф продолжали спорить о Вагнере. Они с Салли дали им отойти. И тогда была та самая благословенная в ее жизни минута подле каменной урны с цветами. Салли остановилась: сорвала цветок, поцеловала ее в губы. Будто мир перевернулся! Все исчезли; она была с Салли одна. Ей как будто вручили подарок, бережно завернутый подарок, и велели хранить, не разглядывать – алмаз, словом, что-то бесценное, но завернутое, и пока они бродили (туда-сюда, туда-сюда), она его раскрыла, или это сияние само прожгло обертку, стало откровением, набожным чувством! И тут старый Йозеф и Питер повернули прямо на них.

– Звездами любуетесь? – сказал Питер.

Она как с разбегу впотьмах ударилась лицом о гранитную стену. Ох, это было ужасно!

И дело не в ней самой. Просто она почувствовала, что он уже придирается к Салли; его враждебность и ревность, желание вмешаться в их дружбу. Она увидела это все, как видишь во вспышке молнии лес, а Салли (никогда она так ею не восхищалась) невозмутимо прошла дальше. Она смеялась. Она попросила старого Йозефа объяснить названия звезд, а тот всегда объяснял это с удовольствием и очень серьезно. А она стояла рядом. И слушала. Она слышала названия звезд.

– Ужасно! – говорила она про себя, и ведь она как знала, как знала заранее, что счастливой минуте что-нибудь да по-

мешает.

Зато скольким она потом была Питеру Уолшу обязана. И отчего это, как подумает о нем, ей всегда вспоминаются ссоры? Чересчур, значит, дорого его хорошее мнение. Она взяла у него слова «сентиментальный», «цивилизованный». Они и сейчас то и дело всплывают, будто Питер тут как тут. Сентиментальная книга. Сентиментальное отношение к жизни. Вот и сама она, наверное, сентиментальная: размечталась о том, что давным-давно прошло. Интересно, что-то он подумает, когда вернется?

Что она постарела? Сам скажет или она прочтет у него по глазам, что она постарела? Действительно. После болезни она стала почти седая.

Она положила брошку на стол, и вдруг ей перехватило горло, будто воспользовались ее задумчивостью и сжали его только и ждавшие случая ледяные когти. Нет, она еще не старая. Она только вступила в свой пятьдесят второй год, впереди пока целехонькие месяцы. Июнь, июль, август! Все еще почти непочатые, и, словно спеша поймать на ладонь падающую каплю, Кларисса окунулась (перейдя к туалетному столику) в самую гущу происходящего, вся отдалась минуте – минуте июньского утра, вобравшего отпечатки уж стольких утр, и увидела, будто сызнова и впервые, как зеркало, туалетный столик, флакончики отражают всю ее под одним углом (перед зеркалом), увидела тонкое, розовое лицо женщины, у которой сегодня прием; лицо Клариссы Дэллоуэй; свое

собственное лицо.

Сколько тысяч раз видела она уже это лицо, и всегда чуть-чуть натянутое! Глядя в зеркало, она поджимала губы. Придавая лицу законченность. Это она – но законченная; заостренная, как стрела; целеустремленная. Это она, когда некий сигнал заставляет ее быть собою и стягиваются все части, и лишь ей одной ведомо, до чего они разные, несовместимые, – стягиваются и создают для посторонних глаз одно, тот единый, сверкающий образ, в каком она входит в свою гостиную, – для кого-то свет в окне, светлый луч, без сомнения, на чьем-то безрадостном небе, для кого-то, возможно, якорь спасения от одиночества; она кое-кому из молодых сумела помочь, те ей благодарны; и она всегда старается быть одинаковой, и не дай Бог, чтобы кто догадался обо всем остальном – слабостях, ревности, суетности, мелких обидах, из-за того, например, что леди Брутн не пригласила ее на ленч, что, конечно (думала она, проводя гребнем по волосам), не лезет ни в какие ворота. Да, так где ж это платье?

Вечерние платья висели в шкафу. Запустив руку в их воздушную мягкость, Кларисса осторожно выудила зеленое и понесла к окну. Она его разорвала на приеме в посольстве. Кто-то наступил на подол. Она чувствовала, как треснуло сверху, под складками. Зеленый шелк весь сиял под искусственным светом, а теперь, на солнце, поблек. Надо его починить. Самой. Девушки и так сбились с ног. Надо его сегодня надеть. Взять нитки, ножницы, и что? – ах, ну да, наper-

сток, конечно, – взять в гостиную, потому что ведь надо еще кое-что написать, присмотреть, как там у них идет дело.

Странно, думала она, остановясь на площадке и входя в тот единый, сверкающий образ, странно, как хозяйка знает свой дом! Спиралью вились по лестничному пролету смутные звуки; свист швабры; звяканье; звон; гул отворяемой парадной двери; голос, перекидывающий кверху брошенный снизу приказ; стук серебра на подносе; серебро начищено для приема. Все для приема.

(А Люси, внеся поднос в гостиную, ставила гигантские подсвечники на камин, серебряную шкатулку – посередине, хрустального дельфина поворачивала к часам. Придут; встанут; будут говорить, растягивая слова, – она тоже так научилась. Дамы и господа. Но ее хозяйка из всех была самая красивая – хозяйка серебра, полотна и фарфора, – потому что солнце, и серебро, и снятые с петель двери, и посыльные от Рампльмайера вызывали в душе Люси, покуда она устраивала разрезальный нож на инкрустированном столике, ощущение совершенства. Глядите-ка! Вот! – сказала она, обращаясь к подружкам из той булочной в Кейтреме, где она проходила свою первую службу, и кинула взглядом по зеркалу. Она была леди Анжелой, придворной дамой принцессы Мэри, когда в гостиную вошла миссис Дэллоуэй.)

– А, Люси! – сказала она. – Как чудесно блестит серебро!

– А как, – сказала она, поворачивая хрустального дельфина, чтобы он опять стоял прямо, – как было вчера в театре?

– О, тем-то пришлось до конца уйти, – сказала она, – им уже к десяти надо было обратно! – сказала она. – Так и не знают, чем кончилось, – сказала она. – В самом деле, неприятно, – сказала она (ее-то слуги всегда могли задержаться, если отпросятся). – Просто ни на что не похоже, – сказала она, и, сдернув с дивана старую, неприличного вида подушку, она сунула ее Люси в руки, слегка подтолкнула ее и крикнула: – Заберите! Отдайте миссис Уокер! Подарите от меня! Заберите!

И Люси остановилась в дверях гостиной, обнимая подушку, и спросила застенчиво, чуть покраснев: не помочь ли ей с платьем?

Нет-нет, сказала миссис Дэллоуэй, у нее ведь и так работы хватает, и без платья у нее вполне хватает работы.

– Спасибо, спасибо, Люси, – сказала миссис Дэллоуэй, и она повторяла: «спасибо, спасибо (сидя на диване, разложив нитки, ножницы, разложив на коленях платье), спасибо, спасибо», повторяла она, благодарная всем своим слугам за то, что помогают ей быть такой – такой, как ей хочется, благородной, великодушной. Они ее любят. Да, ну вот, теперь, значит, платье – где тут разорвано? Главное, вдеть нитку в иголку. Платье было любимое, от Салли Паркер, чуть не последнее от нее, потому что ведь Салли, увы, не работает больше, живет теперь в Илинге, и если у меня когда-нибудь выдастся минутка свободная, решила Кларисса (но откуда, откуда возьмется эта минутка?), я навещу ее в Илинге. Да,

это личность и художница настоящая. Всегда сочинит что-то такое – где-то, чуть-чуть. Зато уж ее платья можно смело куда угодно надеть. Хоть в Хатфилд, хоть в Букингемский дворец. Она надевала их в Хатфилд и в Букингемский дворец.

И тишина нашла на нее, покой и довольство, покуда иголка, нежно проводя нитку, собрала воедино зеленые складки и бережно, легонько укрепляла у пояса. Так собираются летние волны, взбухают и опадают; собираются – опадают; и мир вокруг будто говорит: «Вот и все», звучней, звучней, мощней, и уже даже в том, кто лежит на песке под солнцем, сердце твердит: «Вот и все». «Не страшись», – твердит это сердце. «Не страшись», – твердит сердце, предав свою ношу какому-то морю, которое плачет, вздыхает, вздыхает о всех печалях на свете, снова, снова, ну вот, собирается, опадает. И только лежащий теперь уже слышит, как жужжит, пролетая, пчела; как разбилась волна; как лает собака; лает где-то вдали и лает.

– Господи, звонят! – вскрикнула Кларисса и остановила иголку. И тревожно прислушалась.

– Миссис Дэллоуэй меня примет, – сказал пожилой господин в холле. – Да-да, она меня примет, – повторил он очень добродушно, отстраняя Люси и быстро взбегая по лестнице. – Да-да-да, – бормотал он на бегу. – Примет, примет. После пяти лет в Индии Кларисса меня примет.

– Да кто же это… да что же это… – недоумевала миссис Дэллоуэй (ну не наглость ли – врываться в одиннадцать утра,

когда у нее сегодня прием?), слыша шаги на лестнице. Уже взялись за дверную ручку. Она заметалась – прятать платье, блюдя секреты уединения, как девственница – свое целомудрие. Уже повернулась дверная ручка. Дверь отворилась и вошел… на секунду у нее даже вылетело из головы имя, до того она удивилась, обрадовалась, смутилась, растерялась, потому что Питер Уолш вдруг ввалился с утра! (Она не читала его письма.)

– Ну как ты? – спрашивал Питер Уолш, буквально дрожа, беря обе ее руки в свои, целуя у нее обе руки.

Она постарела, думал он, садясь, не стану ей ничего говорить, думал он, но она постарела. Разглядывает меня, подумал он, и вдруг он смешался, вопреки этому целованию рук. Он сунул руку в карман, он достал оттуда большой перочинный нож и приоткрыл лезвие.

Все тот же, думала Кларисса, тот же взгляд странноватый; тот же костюм в клеточку; чуть-чуть что-то не то с лицом, похудело или подсохло, пожалуй, а вообще он изумительно выглядит и все тот же.

– Как чудесно, что ты тут! – сказала она. И нож вытащил, она подумала. Старые штучки.

Он сказал, что только вчера вечером приехал. И придется, видимо, сразу же ехать за город. Но как дела, как все – Ричард? Элизабет?

– А это по какому поводу? – И он ткнул ножом в сторону зеленого платья.

Он прелестно одет, думала Кларисса. А меня критикует вечно.

Сидит и чинит платье. Вечно она чинит платья, думал он. Так и сидела все время, пока я был в Индии; чинила платья. Развлечения. Приемы. Парламент, то да се, думал он и все больше раздражался, все больше волновался, ибо ничего нет на свете хуже для иных женщин, чем брак, думал он. И политика, и муж-консерватор, вроде нашего безупречного Ричарда. Вот так-то, он думал. Так-то. И, щелкнув, он закрыл нож.

– Ричард – чудесно. Ричард в комитете, – сказала Кларисса.

И она раскрыла ножницы и спросила: ничего, если она кончит тут с платьем, потому что у них сегодня прием?

– На который я тебя не приглашу, – она сказала, – мой милый Питер! – она сказала.

Но как чудно хорошо она сказала «мой милый Питер»! Да, да, все было чудно хорошо – серебро, стулья. Все, все чудно хорошо! Он спросил, почему она не пригласит его на прием.

Да, думала Кларисса. Он очарователен! Просто очарователен! Да, я помню, как немыслимо трудно было решиться – и почему я решилась? – не пойти за него замуж в то ужасное лето!

– Но ведь поразительно, что ты именно сегодня приехал! – вскрикнула она, ладонь на ладонь складывая руки на платье.

– А помнишь, – спросила она, – как хлопали в Бортоне шторы?

– Да уж, – сказал он и вспомнил унылые завтраки с глазу на глаз с ее отцом; тот умер; и он тогда не написал Клариссе. Правда, он не ладил со старым Парри, сварливым, шаркающим стариканом, Клариссиным отцом Джастином Парри.

– Я часто жалею, что не ладил с твоим отцом, – сказал он.

– Но он всегда недолюбливал тех, кто, ну… наших друзей, – сказала Кларисса и язык готова была себе откусить за то, что таким образом напомнила Питеру, что он хотел на ней жениться.

Конечно, хотел, думал Питер. Я тогда чуть не умер с горя.

И печаль нашла на него, взошла, как лунный лик, когда смотришь с террасы, прекрасный и мертвенный в последних отблесках дня.

Никогда я не был так несчастлив, думал он. И, будто и в самом деле он сидит на террасе, он слегка наклонился к Клариссе; вытянул руку; поднял; уронил. Он висел над ними – тот лунный лик. И Кларисса тоже словно сейчас сидела вместе с ним на террасе, в лунном свете.

– Там теперь Герберт хозяин, – сказала она. – Я туда не езжу, – сказала она.

И в точности, как бывает на террасе, в лунном свете, когда одному уже скучновато и неловко от этого, но другой, пригорюнясь, молчит и разглядывает луну, а потому остается молчать и ему, и он ерзает, откашливается, упирается взглядом в завиток на ножке стола, шуршит сухим листом и ни слова не произносит, – так теперь и Питер Уолш.

И зачем ворошить прошлое, думал он, зачем заставлять его снова страдать, не довольно ль с него тех чудовищных мук. Зачем же?

– А помнишь озеро? – спросила она, и голос у нее пресекся от чувства, из-за которого вдруг невпопад стукнуло сердце, перехватило горло и свело губы, когда она сказала «озеро». Ибо – сразу – она, девчонкой, бросала уткам хлебные крошки, стоя рядом с родителями, и взрослой женщиной шла к ним по берегу, шла и шла и несла на руках свою жизнь, и чем ближе к ним, эта жизнь разрасталась в руках, разбухала, пока не стала всей жизнью, целой жизнью, и тогда она ее сложила к их ногам и сказала: «Вот что я из нее сделала, вот!» А что она сделала? В самом деле, что? Сидит и шьет сегодня рядом с Питером.

Она посмотрела на Питера Уолша. Взгляд, пройдя насквозь годы и чувства, неуверенно коснулся его лица; остановился на нем в поволоке слез; вспорхнул и улетел, как, едва тронув ветку, птица вспархивает и улетает. Осталось только вытереть слезы.

– Да, – сказал Питер, – да-да-да, – сказал он так, будто она что-то вытянула из глуби наружу, задев его и поранив. Ему хотелось закричать: «Хватит! Довольно!» Ведь он не стар еще. Жизнь не кончена никоим образом; ему только-только за пятьдесят. Сказать? – думал он. Или не стоит? Лучше б сразу. Но она чересчур холодна, думал он. Шьет. И ножницы эти. Дейзи рядом с Клариссой показалась бы простенькой.

И она сочтет меня неудачником, да я и есть неудачник в их понимании, в понимании Дэллоуэев. И еще бы, вне сомнения, он неудачник рядом с этим со всем – инкрустированный столик и разукрашенный разрезальный нож, дельфин, и подсвечники, и обивка на стульях, и старинные дорогие английские гравюры – конечно, он неудачник! Мне претит это самодовольство и ограниченность, думал он; все Ричард, не Кларисса. Только зачем понадобилось выходить за него замуж? (Тут появилась Люси, внося серебро, опять серебро, и до чего мила, стройна, изящна, думал он, покуда она наклонялась, это серебро раскладывая.) И так все время! Так и шло, думал он. Неделя за неделей; Клариссина жизнь; а я меж тем… подумал он; и тотчас из него будто излучилось разом – путешествия; верховая езда; ссоры; приключения; бридж; любовные связи; работа, работа, работа! И, смело вытащив из кармана нож, свой старый нож с роговой ручкой (тот же, готова была поклясться Кларисса, что и тридцать лет назад), он сжал его в кулаке.

И что за привычка невозможная, думала Кларисса. Вечно играть ножом. И вечно, как дура, чувствуешь себя с ним несерьезной, пустой, балаболкой. Но я-то хороша, подумала она и, снова взявшись за ножницы, призвала, словно королева, когда заснули телохранители, и она беззащитна (а ведь ее обескуражил этот визит, да, он ее выбил из колеи), и каждый, кому не лень, может вломиться и застать ее под склоненным кустом куманики, – призвала все, что умела, все, что имела

– мужа, Элизабет, словом, себя самое (теперешнюю, почти неизвестную Питеру) для отражения вражьей атаки.

– Ну, а что у тебя происходит? – спросила она. Так бьют копытами кони перед сражением; трясут гривами, блестят их бока, изгибаются шеи. Так Питер Уолш и Кларисса, сидя рядышком на синей кушетке, вызывали друг друга на бой. Питер собирал свои силы. Готовил к атаке все: похвальные отзывы; свою карьеру в Оксфорде; и как он женился – она ничего об этом не знает; как он любил; и свою беспорочную службу.

– О, тьма всевозможных вещей! – объявил он во власти сомкнутых сил, уже несущих в атаку, и со сладким ужасом и восторгом, будто плывя на плечах невидимки-толпы, он поднял руки к вискам.

Кларисса сидела очень прямо; она затаила дыхание.

– Я влюблен, – сказал он, но не ей, а тени, встающей во тьме, которой не смеешь коснуться, но слагаешь венок на травы во тьме.

– Влюблен, – повторил он, уже сухо – Клариссе Дэллоуэй, – влюблен в одну девушку в Индии. – Он сложил свой венок. Пусть Кларисса что хочет, то с этим венком и делает.

– Влюблен! – сказала она. В его возрасте в галстучке бабочкой – и под пятою этого чудовища! Да у него же шея худая и красные руки. И он на шесть месяцев старше меня, доносили глаза. Но в душе она знала – он влюблен. Да-да, она знала – он влюблен.

Но тут неукротимый эгоизм, неизбежно одолевающий все выставляемые против него силы, поток, рвущийся вперед и вперед, даже когда цели и нет перед ним, – неукротимый эгоизм вдруг залил щеки Клариссы краской; Кларисса помолодела; очень розовая, с очень блестящими глазами, сидела она, держа на коленях платье, и иголка с зеленой шелковой ниткой чуть прыгала у нее в руке. Влюблен! Не в нее. Та небось помоложе.

– И кто же она? – осведомилась Кларисса. Пора было снять статую с пьедестала и поставить меж ними.

– Она, к сожалению, замужем, – сказал он. – Жена майора индийской армии.

И, выставляя ее перед Клариссой в столь комическом свете, он улыбался странно-иронической, нежной улыбкой. (Но все равно он влюблен, думала Кларисса.)

– У нее, – продолжил он деловито, – двое детишек – мальчик и девочка. Я приехал понаведаться у моих адвокатов насчет развода.

Вот они тебе, думал он. На, делай с ними что хочешь, Кларисса! Пожалуйста! И с каждой секундой жена майора индийской армии (его Дейзи) и ее двое детишек становились будто прелестней под взглядом Клариссы, словно он поджег серый шарик на металлическом блюде, и встало прелестное дерево на терпком соленом просторе их близости (ведь никто, в общем, не понимал его, никто так не знал его чувств, как Кларисса), их восхитительной близости.

Подольстилась к нему, одурачила, думала Кларисса. Три взмаха ножа – и ей совершенно ясна была эта женщина, эта жена майора индийской армии. Глупость! Безумие! Всю жизнь одни глупости. Сперва его выгоняют из Оксфорда. Потом он женится на девице, подвернувшейся ему на пароходе по пути в Индию. И теперь еще эта жена майора индийской армии. Слава Богу, она тогда ему отказала, не пошла за него замуж! Да, но он влюблен, старый друг, милый Питер влюблен.

– И что ты думаешь делать? – спросила она.

– О, адвокаты, защитники, господа Хупер и Грейтли из «Линкольнз инн», уж они-то найдут, что тут делать, – сказал он. И он положительно стал подрезать перочинным ножом себе ногти.

Да оставь ты ради бога в покое свой нож! – взмолилась она про себя, совершенно теряя терпение. Дурацкая невоспитанность – вот его слабость; совершенное нежелание считаться с тем, что ощущает другой, – вот что вечно бесило ее. Но в его-то возрасте – какая нелепость!

Знаю я все, подумал Питер, знаю, против кого я иду, подумал он и пробежал беспокойным пальцем вдоль лезвия. Кларисса, Дэллоуэй и прочая братия. Но я покажу Клариссе! – и вдруг, сраженный неуловимыми силами, ударившими по нему врасплох, он ударился в слезы. Он сидел на кушетке и плакал, плакал, ничуть не стыдясь своих слез, и слезы бежали у него по щекам.

И Кларисса наклонилась вперед, взяла его за руку, притянула к себе, поцеловала – и она ощущала его щеку на своей все время, пока унимала колыханье, вздуванье султанов в серебряном плеске, как трепет травы под тропическим ветром, а когда ветер унялся, она сидела, трепля его по коленке, и было ей удивительно с ним хорошо и легко, и мелькнуло: «Если б я пошла за него, эта радость была бы всегда моя».

Для нее все кончилось. Простыня не смята и узка кровать. Она поднялась на башню одна, а они собирают на солнышке куманику. Дверь захлопнулась, кругом облупившаяся штукатурка и клочья от птичьих гнезд, и земля далеко-далеко, и тоненько, зябко долетают оттуда звуки (как когда-то в Лей-Хилле!), и – Ричард, Ричард! – взмолилась она, как, внезапно проснувшись, простирают руки в ночи – и получила: «Завтракает с леди Брутн». Он меня предал; я навеки одна, подумала она, складывая на коленях руки.

Питер Уолш встал, и подошел к окну, и повернулся к ней спиной, и туда-сюда порхал пестрый носовой платок. Он стоял, подтянутый, поджарый, потерянный, и лопатки чуть-чуть выдавались под пиджаком; он истошно сморкался. Возьми меня с собой, вдруг подумала Кларисса, будто он вот сейчас тронется в дальний путь, и сразу же, через миг, словно пьеса, напряженная и занимательная, кончилась, и за пять актов она прожила всю свою жизнь, и сбежала, прожила жизнь с Питером, и все теперь кончилось.

Теперь пора было уходить, и как дама в ложе собирает на-

кидку, перчатки, бинокль и встает, чтоб идти из театра на улицу, так она поднялась с кушетки и подошла к Питеру.

Он же недоумевал и поражался тому, что по-прежнему в ее власти, поднося к нему шелест и звон, удивительно, что по-прежнему в ее власти, подходя к нему через комнату, возводить постылый тот лунный лик в летнее небо над террасою в Бортоне.

– Скажи мне, – и он схватил ее за плечи, – ты счастлива, Кларисса? Скажи – Ричард…

Дверь отворилась.

– А вот и моя Элизабет, – сказала Кларисса с чувством, театрально, быть может.

– Здравствуйте, – сказала Элизабет, подходя.

Удар Биг-Бена, отбивающий полчаса, упал на них с особенной силой, будто рассеянный баловень стал играть без всякого смысла гантелями.

– Здравствуй, Элизабет! – крикнул Питер, сунул нож в карман, быстро подошел, не глядя в лицо, сказал: – До свиданья, Кларисса, – быстро вышел из комнаты, сбежал по лестнице, отворил парадную дверь.

– Питер! Питер! – кричала Кларисса, выходя за ним следом на лестницу. – Прием! Мой прием не забудь! – кричала она, стараясь перекрыть рев улицы, и, заглушаемый шумом машин и боем всех часов сразу, ее голос: «Мой прием не забудь!» – очень тоненький, хрупкий и дальний – долетел до Питера Уолша, затворявшего дверь.

Мой прием не забудь, мой прием не забудь, повторял Питер Уолш, выходя на улицу, повторял, скандируя, в лад отвесно текущим звукам Биг-Бена, отбивающего полчаса. (Свинцовые круги разбегались по воздуху.) Ох уж эти приемы, думал он. Клариссины приемы. Зачем ей эти приемы? – думал он. Не то чтоб он осуждал ее или, скажем, вот этого господина во фраке с гвоздикой в петлице, вышагивающего навстречу. Нет, только один-единственный человек на свете так влюблен. А вот и этот счастливчик собственной персоной, вот он вам – в зеркальной витрине автомобильного магазина на Виктория-стрит. За плечами – целая Индия; долины, горы; эпидемии холеры; округ вдвое больше Ирландии; и все надо было решать самому – ему, Питеру Уолшу, который наконец-то, впервые в жизни, влюблен. А Кларисса как будто жестче стала, думал он, и чуть сентиментальна вдобавок, сдавалось ему, пока он разглядывал огромные автомобили, на которых можно выжимать – сколько миль, на скольких галлонах? Он ведь не полный профан в механике: ввел у себя в округе плуг, выписал тачки из Англии, только кули не захотели, а что про все это знает Кларисса?

И то, как она сказала: «А вот и моя Элизабет!», его покоробило. Почему не просто: «Вот Элизабет»? Неискренне. И самой Элизабет не понравилось. (Тут последние раскаты гулкого голоса сотрясли воздух; полчаса; еще рано; всего половина двенадцатого.) Он-то понимает молодых. Она ему нравится. А Кларисса всегда была холодновата, думал он. В

ней всегда, даже в девочке, была скованность, которая с годами обращается в светскость, и тогда – все, тогда – все, думал он, и, не без тоски вглядываясь в зеркальные глубины, он начал беспокоиться, не было ли ей неприятно его неурочное вторжение; вдруг устыдился, что свалял дурака, ударился в слезы, расчувствовался, выложил ей все – как всегда, как всегда.

Как туча набегает на солнце, находит на Лондон тишина и обволакивает душу. Напряжение отпускает. Время полощется на мачте. И – стоп. Мы стоим. Лишь негнущийся остов привычки держит человеческий корпус, а внутри – ничего там нет, совершенно полый корпус, говорил себе Питер Уолш, ощущая бесконечную пустоту. Кларисса мне отказала, думал он. Он стоял и думал: Кларисса мне отказала.

Ах, сказала церковь Святой Маргариты, как хозяйка, войдя в гостиную с последним ударом часов, когда гости уже в сборе. Я не опоздала. Нет-нет, сейчас ровно половина двенадцатого, говорит она. И хотя она совершенно права, голос ее (она ведь хозяйка) вам не хочет навязывать свои характерные нотки; он подернут печалью о прошлом и какими-то нынешними заботами. Сейчас половина двенадцатого, говорит она, и звон Святой Маргариты попадает в тайники сердца, и прячется, и уходит все глубже и глубже, покуда кругами расходятся звуки, как что-то живое, чтобы довериться, раствориться и успокоиться в дрожи восторга – будто Кларисса сама, подумал Питер Уолш, в белом платье спускается

вниз с ударом часов. Это Кларисса сама, подумал он, замирая от глубокого чувства и какого-то удивительно четкого, но загадочного воспоминания о Клариссе, будто звон этот давным-давно залетел в комнату, где они сидели вдвоем, залетел в минуту их немыслимой близости, подрожал над ним и над нею и, как добывшая меда пчела, улетел, отягченный минутой. Но в какую комнату? И в какую минуту? И почему бой часов вдруг обдал его счастьем? Но когда звон Святой Маргариты стал таять, он подумал: «Она же была больна» – и в звоне были усталость и боль. Да-да, что-то с сердцем, он вспомнил. И неожиданно резкий последний удар вызвонил смерть, всегда стерегущую смерть, и под этот удар Кларисса падала замертво на пол гостиной. «Нет-нет! – закричало сердце Питера. – Она жива еще! Я еще не стар!» – кричало его сердце, и он зашагал вверх по Уайтхоллу так, словно могучее, бесконечное, под ноги ему скатывалось его будущее.

Он не стар, никоим образом; не скис, не скукожился. А насчет того, что скажут Дэллоуэи, Уитбреды и вся эта шатия – ему с высокой горы наплевать – наплевать! (Хотя, конечно, рано или поздно придется обратиться к Ричарду, чтоб помог с работой.) На ходу он окидывал взглядом статую герцога Кембриджского. Прогнали из Оксфорда – верно. Был социалистом, в известном смысле неудачник – верно. И все же будущее цивилизации, думал он, в руках таких молодых людей; таких, как он был тридцать лет назад; которые преданы отвлеченностям; которым шлют книги, где б они ни застря-

ли, от Лондона до вершин Гималаев; научные книги, философские книги. Будущее в руках таких молодых людей.

Где-то сзади родился дробно-рассыпчатый шелест, словно листьев в лесу, накатил и настиг гулким и мерным стуком, подхватил его мысли и без его участия поволок по Уайтхоллу. Мальчишки в солдатских мундирах шли с винтовками, выпятив грудь, устремив взоры в пространство, а выражение на лицах у них было как надпись по цоколю статуи, восхваляющая чувство долга, благодарность, верность, любовь к Англии.

Да, думал Питер Уолш, невольно попадая с ними в ногу, превосходная выучка. Но тут были отнюдь не богатыри. В основном щуплые, не старше шестнадцати лет, и завтра, очень возможно, они будут стоять за прилавком, торгуя мылом и рисом. Теперь же их всех, отреша от мирской сутолоки и сердечных забав, осеняла торжественность венка, который они несли из пригорода возлагать на пустую гробницу. Они священнодействовали. И улица их уважала; фургоны не пропускались.

Нет, за ними не угонишься, подумал Питер Уолш, когда они вышагали по Уайтхоллу; и, разумеется, они прошли дальше, мимо него, мимо всех, ровно, твердо, будто единая воля двигала в лад руки и ноги, покуда жизнь, вольная и безалаберная, была не видна из-за венков и статуй и силою дисциплины вгонялась в застывший, хоть и глазеющий, труп. Этого нельзя не уважать; пусть это даже смешно, да, но не

уважать нельзя, думал он. Идут-идут, думал Питер Уолш, остановясь на краю тротуара. А все величавые статуи – Нельсона, Гордона, Хэвлока, – черные, гордые образы доблестных воинов меж тем устремляли взоры в пространство, будто и они пошли на такое же самоотречение (Питеру Уолшу казалось сейчас, что и сам он пошел на это великое самоотречение), одолели те же соблазны, чтоб наконец-то обрести эту пристальность каменных взоров. Он-то, Питер Уолш, на каменный взор нисколько не притязал. Хоть в других уважал его. В мальчиках тоже. Они еще не познали мучений плоти, подумал он, когда марширующие юнцы канули в сторону Стрэнда, ну а мне досталось, подумал он, и перешел через дорогу, и остановился у памятника Гордону, Гордону, которого мальчишкой боготворил; Гордон стоял сиро, выставив одну ногу и скрестив на груди руки. Бедняга Гордон!

И оттого, что ни одна душа, кроме Клариссы, не знала, что он в Лондоне, и земля после парохода казалась все еще островом, ему сделалось до ошеломления странно, что вот он один, живехонек, никому не ведомый стоит в половине двенадцатого на Трафальгар-Сквер. Да что это? Где я? И зачем, в конце концов, это все? – думал он. Развод показался вдруг совершеннейшим вздором. И мысль распласталась болотом, и три чувства нахлынули: снисхождение, любовь ко всем и – как их результат – захлестывающий восторг, будто кто-то в мозгу его дернул веревки, открыл шторы, он же стоял в это время сам по себе, но перед ним распростерлись бесконеч-

ные улицы – иди по какой пожелаешь. Давно уж не чувствовал он себя таким молодым.

Спасен! Избавлен! – так бывает, когда привычка вдруг рушится и дух разгулявшимся пламенем ширится, клонится и вот-вот сорвется с опор. Давно уж не чувствовал я себя таким молодым, думал Питер Уолш, спасенный от того (на часок на какой-то, конечно), от чего никуда не денешься, от самого себя, – как ребенок, который улепетнул из дому и видит на бегу, как старая няня куда-то наугад тычет рукой из окошка. Но до чего же прелестна, подумал он, ибо Трафальгар-Сквер в направлении к Хэймаркету пересекла молодая женщина и, проходя мимо памятника Гордону, роняла вуаль за вуалью, как показалось Питеру Уолшу при его впечатлительности, пока не сделалась тем, что всегда мечталось ему, – юная, но статная; веселая, но сдержанная; темноволосая, но обворожительная.

Приосанясь и украдкой поигрывая перочинным ножом, он устремился за нею, этой женщиной, этой радостью и находкой, которая, даже и поворотя ему спину, обдавала светом, объединяющим их, выделяющим его из множеств, будто сама истошно-громкая улица, сложив рупором руки, нашептывала его имя, не Питер, нет, но то интимное имя, каким он сам себя называл в собственных мыслях.

«Ты», говорила женщина, просто «ты», говорили ее белые перчатки и плечи. Вот легкий длинный плащ встрепенулся от ветра возле магазина издательства «Дент» на Кокс-

пер-стрит и взмыл с печальной, облекающей нежностью, будто принимая в объятья усталого…

Э, да она не замужем; молоденькая, совершенно молоденькая, подумал Питер Уолш, когда красная гвоздика, которую он у нее еще раньше заметил на Трафальгар-Сквер, снова полыхнула ему в глаза и ярко окрасила ее губы. Вот она остановилась у края тротуара. Ждет. В осанке – какое достоинство. Она не светская, не то что Кларисса. И не богатая, не то что Кларисса. Интересно, подумал он, когда она снова пошла, а она из хорошей семьи? Она остроумна, у нее острый, жалящий язычок, думал он (почему же не пофантазировать – легкая вольность не возбраняется), ее остроумие сдержанно, метко, она не шумлива.

Пошла. Перешла улицу. Он за нею. Он, натурально, не собирается ей докучать. Но если сама остановится, можно сказать: «Пойдемте-ка есть мороженое», почему не сказать, и она, не кривляясь, ответит: «Отчего ж».

Но его обгоняли, мешали, заслоняли ее. Он не отставал. Она повернула. Щеки у нее разгорелись, у нее смеялись глаза. А он был смельчак, удалец, быстрый, бесстрашный (только вчера из Индии), отважный пират, и плевать ему было на все эти штуки, желтые халаты и трубки, и эти их удочки, и на их респектабельность, на все их приемы, на лощеных старикашек в белых галстуках и жилетах. Он был отважный пират. А она шла и шла, по Пиккадилли, по Риджентс-стрит, шла впереди, и плащ ее, перчатки и плечи сочетались с кру-

жевами, оборками, перьевыми боа, и дух роскоши и причуд нисходил на нее с витрин, как ночью свет фонаря плывет, подрагивая, над сонной травою.

Веселая, восхитительная, она пересекла Оксфорд-стрит и Грейт-Портленд-стрит и свернула в какую-то узкую улочку и – вот, вот он, торжественный миг, да, она замедлила шаг, открыла сумочку, бросила взгляд в его сторону, но мимо, сквозь, и взгляд был прощальный, последний и подводил итог, победный итог, и она вынула ключ, открыла дверь и исчезла! Клариссин голос: «Мой прием не забудь!» – звенел у него в ушах. Дом был из красных унылых домов в цветочных висячих горшках по фасаду, не слишком хорошего тона. Что ж, с этим кончено.

Зато позабавился. Все равно позабавился, думал он, поднимая глаза на качающиеся в горшках бледные гераньки. И вот – вдребезги эта забава; потому что он в общем-то сам ее сочинил, ясно же, он от начала и до конца сочинил дурацкую вылазку с этой девицей; сочинил, как мы все почти сочиняем, думал он. Сочиняем себя. И ее. Прелестные увеселения и кое-что посерьезнее. Но вот что странно – и верно: ни с кем ничего не разделишь – все разбивается вдребезги.

Он повернул. Пошел обратно и стал думать, где б приземлиться, пока не пора еще в «Линкольнз инн», к господам Грейтли и Хуперу. Куда ж податься? А, не важно. Ладно, значит, в Риджентс-Парк. И ботинки выбивали по тротуару «не важно»; потому что в самом деле оставалась еще бездна

времени, бездна времени.

Утро меж тем стояло прелестнейшее. Как пульс при исправном сердце, ровно билась в улицах жизнь. Без запинок и перебоев. Гладко, четко, точно, бесшумно, с раскату, секунда в секунду у двери остановился автомобиль. Девушка в шелковых чулках и в оперенье, воздушная, но не слишком в его вкусе (да и все позади, позади) выпорхнула из автомобиля. Вышколенные дворецкие, рыжие чау-чау, холлы, черно-бело выложенные ромбами, упруго вздутые белые шторы – все это глянуло на Питера через отворенную дверь и понравилось. Великолепное, в сущности, достижение – Лондон, летом особенно; цивилизация, да.

Происходя из почтенной англо-индийской семьи, по крайней мере три поколения которой ведали делами Индии (странно, почему я думаю об этом с сентиментальностью, я не люблю ведь Индию, империю, армию), минутами он ценил цивилизацию – даже в таких ее проявлениях – как свою собственность. На него находило; и тогда он гордился Англией; дворецкими, чау-чау, недосягаемыми девицами. Смешно, а вот поди ж ты, думал он. И доктора, предприниматели и умные женщины, спешащие по делам, точные, целеустремленные, крепкие, были, ей-богу, прелестны, свои люди, кому можно без страха доверить жизнь, с кем славно шагать нога в ногу по жизни, кто поддержит тебя в беде. В общем, вполне интересный спектакль, и оставалось только найти, где б в тени присесть с сигарой.

Вот и Риджентс-Парк. Да. Мальчишкой я гулял в Риджентс-Парке – странно, думал он, и что это мне все время лезет в голову детство? Наверное, потому, что повидался с Клариссой; женщины больше живут прошлым, думал он. Они привязаны к местам. И к отцам. Каждая женщина гордится отцом. Бортон – чудное место, дивное место, но я не ладил со стариком, думал он. Как-то вечером разразился даже скандал, вышел спор, он не мог уже вспомнить из-за чего, из-за политики, кажется.

Да. Риджентс-Парк. Длинная прямая аллея; слева домик, там покупали воздушные шарики; дурацкая статуя, на ней еще где-то какая-то надпись. Он поискал глазами пустую скамейку. Не хотелось, чтоб лезли с вопросами: «который час?» (немного клонило в сон). Вот пожилая седенькая няня, и рядом ребенок в колясочке – ага, это самое лучшее; подсесть на скамейку к той няне, на дальний конец.

А она странная девочка, подумал он, вдруг вспомнив, как Элизабет вошла и стала рядом с матерью. Высокая. И взрослая совсем; не то чтоб очень хорошенькая. Скорей миловидна. Ей ведь не больше восемнадцати, кажется. Наверное, не ладит с Клариссой. И это «а вот и моя Элизабет» (почему не просто: «Вот Элизабет»), наверное, как у большинства матерей от желания что-то замазать. Слишком уж она нажимает на свое обаяние, думал он. Палку перегибает.

Сигарный благоденственный дым прохладой спустился по горлу; он выпустил его кольцами, и с минуту они храбро сра-

жались с воздухом, синие, круглые, – надо вечером улучить минутку и переговорить с Элизабет с глазу на глаз, он думал, – но вот потекли, как песок в песочных часах, истончились; странные какие формы, он думал. Глаза слипались, еле-еле удалось поднять руку и выбросить остаток сигары. Метла помела по мыслям, прометала ветки, детский говор, прохожих, шорох ног, грохот улицы, нарастающий, опадающий грохот. Вниз, вниз, вниз затягивали перья и перышки сна, и вот он уже провалился и увяз в перьях.

Седенькая няня снова принялась вязать, когда Питер Уолш захрапел на горячей скамейке с нею рядом. В своем сереньком платье, неустанно и ровно двигая локтями, она была как борец за права спящих и подобна тем духам сумерек, что встают над рощами – порождения веток и облаков.

Одинокий странник, которого знают заглохшие тропы, хоронится папоротник и недолюбливает болиголов, вдруг, вскинув взор, видит в конце просеки живую огромную тень.

По убеждению, пожалуй, он атеист, и его застигают врасплох такие немыслимые минуты. Все, что вне нас, – лишь создание нашего разума, так думает он, все от желания утешиться и забыться, спастись от этих жалких пигмеев, этих слабых, и трусливых, и низких мужчин и женщин. Но раз я постигаю ее, стало быть, странным образом она существует, так думает он, и, бредя по тропе, устремив взор на облака и на ветки, он уже наделяет их женственностью; с изумле-

нием замечает, как они наливаются тягостью; как величаво, движимые ветерком, они роняют под темный шорох листвы доброту, понимание, прощение и, вдруг дернувшись, сразу теряют благочестие облика в диком загуле.

Вот какие видения манят одинокого странника, как рог изобилия, полный плодов, или как шепот сирен, когда, шепнув ему в уши, они укрываются за зелеными гребнями волн, или как розы в росе, когда бьют по лицу, или как лица, как бледные нежные лица, когда околдовывают и зовут рыбака, поднимаясь к поверхности из глубока.

Вот какие видения непрестанно всплывают, и мешаются, и вклиниваются, заслоняют то, что подлинно существует; и часто одолевают одинокого странника, отбивая память о грешной земле и охоту туда возвращаться, а взамен даря совершенный покой, будто (так он думает, продвигаясь по просеке) вся эта горячка жизни – сплошная наивность; и бездна разных вещей уже слита в одну; и эта живая тень, порождение веток и облаков, встала из бурного моря (он уж стар, ему уж за пятьдесят), как призрак встает над волнами, чтоб струить из своих несравненных, ее нежных ладоней жалость, понимание, прощение. И мне уже не придется, так думает он, возвращаться под сень абажура; в гостиную; дочитывать книжку; выколачивать трубку; звонить миссис Тернер, чтоб убрала; пойду-ка я прямо и прямо к этой огромной тени, и она встряхнет головой, и поднимет меня на своих вымпелах, и прахом развеет, как всех.

Вот какие видения. Одинокий странник скоро выходит из лесу. А там на крыльце, поднеся щитками ладони к вискам, может быть, поджидая его, в белом веющем фартуке, стоит седая женщина, и кажется (так неодолимо сильна эта немощь), что она в пустыне выискивает блудного сына; ищет павшего конника; что она – это мать, потерявшая всех сыновей на войне. И покуда путник идет деревенской улицей, где женщины вяжут, а мужчины окапывают деревья в садах, закат становится знамением; и все замирают; будто высокий, заведомый жребий, ожидаемый ими без страха, вот-вот сметет их в совершенное небытие.

В комнате, среди обыденных вещей – стол, буфет, подоконник с гераньками, – очерк хозяйки, наклонившейся, чтобы снять скатерть, вдруг нежно обтягивается светом, оборачивается обожаемым символом, и только память о холодности человеческих встреч запрещает в него поверить. Она берет со стола варенье, ставит в буфет.

– Больше сегодня ничего не надо, сэр?

Но кому ответит одинокий странник?

И вязала над спящим младенцем старая няня в Риджентс-Парке. И храпел Питер Уолш. Он проснулся рывком со словами: «Погибель души».

– Господи! Господи! – произнес он сам с собой вслух, потянулся и открыл глаза. – Погибель души. – Слова были связаны с какой-то сценой, комнатой, с прошлым, о котором

был сон. Постепенно прояснились: сцена, комната, прошлое, о котором был сон.

Это было в Бортоне тем летом, в начале девяностых годов, когда он так сходил с ума по Клариссе. В гостиной собралось много народу, сидели за столом после чая, говорили, смеялись, и комната плыла в желтом свете и сигарном дыму. Говорили о ком-то – имя запамятовал, – кто женился на собственной горничной. Женился и привез ее в Бортон с визитом, и вышло ужасно. Она отчаянно разрядилась – «совершеннейший попугай», сказала изображавшая ее Кларисса, – и не закрывала рта ни на минуту. Трещит, и трещит, и трещит. Кларисса ее изображала. А потом кто-то сказал – это Салли Сетон сказала: «И что же меняет, в конце концов, если она родила ребенка до того, как они поженились?» (Вопрос очень смелый по тем временам в смешанном обществе.) И – он как сейчас видит – Кларисса залилась краской, вся будто сжалась и выговорила: «О, теперь я ни слова не смогу с ней сказать!» После чего всех за столом будто встряхнуло. Вышло ужасно неловко.

И важно даже не то, что́ она сказала; девушки, воспитанные, как она, в те времена ничего не знали о жизни, но его возмутил ее тон – скованный, резкий, надменный, жеманный. «Погибель души». У него это вырвалось. Он опять, как тогда, снабдил этот миг ярлыком – погибель ее души.

Все вздрогнули; все согнулись от Клариссиных слов и встали уже другими. Помнится, Салли Сетон, как набедоку-

ривишее дитя, вспыхнула, подалась вперед, хотела что-то сказать, но побоялась, Клариссы побаивались. (Она была ближайшая подруга Клариссы, жила в Бортоне, привлекательное существо, красивая, темноволосая, и считалась по тем временам очень смелой, он сам давал ей сигары, и она курила их у себя в комнате, и она была то ли с кем-то помолвлена, то ли порвала с семьей, и старый Парри обоих их не любил, что очень сближало.) А потом Кларисса с таким видом, будто все они ее оскорбили, поднялась и под каким-то предлогом вышла – одна. Когда она открыла дверь, вбежал лохматый пес, он у них сторожил овец, и она бросилась к нему, начала умиляться. Будто хотела сказать Питеру (все, он-то знал, делалось ради него): «Вот ты осуждаешь меня за мое отношение к этой особе, считаешь его нелепым, но посмотри, какой я могу быть милой и ласковой, как я люблю своего Роба!»

Они всегда странным образом могли сообщаться без слов. Она всегда понимала тотчас, если он ее осуждал. И что-нибудь делала, явно чтоб оправдаться, – вроде той возни с собакой, да только напрасно старалась, он видел Клариссу насквозь. Разумеется, он ей ничего не сказал. Просто он дулся. И так обычно у них начинались ссоры.

Она затворила дверь. И сразу же ему сделалось нестерпимо тоскливо. Все стало бессмысленно – дальше любить, дальше ссориться, дальше мириться. И он побрел, один, среди служб и конюшен, глядя на лошадей. (Парри жили скромно, не отличались богатством, но тут всегда были конюхи,

грумы – Кларисса любила ездить верхом, – и был старый кучер – как бишь его звали? – и старая няня, бабушка Мумсик, бабушка Пумсик, как-то так, и полагалось к ней ходить на поклон в комнатенку, увешанную фотографиями и птичьими клетками.)

Чудовищный вечер! Он все больше мрачнел, и не только из-за этого, а вообще. И он никак не мог поймать ее, переговорить, объясниться. Везде толклись люди, и она вела себя как ни в чем не бывало. В том-то и ужас – ее эта холодность, каменность, и так глубоко в ней сидит, сегодня утром он снова почувствовал. Непроницаемость. Но, видит Бог, он ее любил. Она странным образом умела дергать человеку нервы, и притом они пели, как струны скрипки. Да.

Он очень поздно вышел к ужину, чтоб привлечь к себе внимание – о, болван, – и уселся рядом со старой мисс Парри, тетей Еленой, сестрой мистера Парри, как бы главенствовавшей за столом. Она сидела в белой кашемировой шали, затылком к окну – весьма грозная старуха, но к нему она благоволила, он нашел ей какой-то редкостный цветок, а она увлекалась ботаникой, вышагивала в грубых башмаках и складывала цветы и травы в болтавшуюся за спиной черную ботанизирку. Он уселся с ней рядом и ни слова не мог вымолвить. Все мелькало перед глазами. Но потом, посреди ужина, он заставил себя в первый раз взглянуть на Клариссу. Она разговаривала с молодым человеком справа от нее. И вдруг его осенило. «Она выйдет замуж за этого человека», –

сказал он себе. А он не знал его даже по имени.

Потому что – да! – ведь в тот самый вечер, только в тот вечер и появился Дэллоуэй; и Кларисса еще называла его Уикем, с этого все и пошло. Кто-то его привез; и Кларисса перепутала фамилию. Она всем представляла его как Уикема. В конце концов он сказал: «Но я Дэллоуэй!» Так это первое впечатление от Ричарда ему и запало: светловолосый, довольно неловкий молодой человек, сидя в шезлонге, выпаливает: «Но я Дэллоуэй!» Салли к этому прицепилась, потом называла его не иначе как «Но я Дэллоуэй!».

Вообще его в ту пору непрошено осеняло. А уж это открытие – что она выйдет за Дэллоуэя – обрушилось совершенно врасплох, ослепило, как молния. Было что-то такое в ее тоне, когда она обращалась к нему – как бы назвать? – простота, что-то материнское, какая-то мягкость. Разговор у них шел о политике. И до конца обеда он напряженно прислушивался, стараясь расслышать, что они говорят.

Потом он, помнится, стоял возле кресла старой мисс Парри в гостиной. Кларисса вошла – светская, безукоризненная, безупречная хозяйка, – хотела его кому-то представить, обращалась с ним так, будто они едва знакомы, и это взбесило его. Но даже и тут он восхищался. Восхищался ее мужеством, ее последовательностью, восхищался ее умением себя держать. «Безупречная хозяйка дома», – он ей сказал, и вот тут-то ее передернуло. Но он для того и сказал. Он изо всех сил старался ее задеть, после того как увидел их с Дэллоуэем.

И она ушла. Ему казалось, что все сговорились против него, смеются у него за спиной. Он застыл возле кресла мисс Парри, как истукан, посреди беседы о полевых цветах. Никогда, никогда он не страдал так чудовищно! Он, наверное, даже не мог делать вид, будто слушает; вдруг опомнясь, он увидел выпученные глаза мисс Парри, недоуменные, негодующие. Он чуть не крикнул, что не может ничего слушать, оттого что ведь это ад, сущий ад! Из гостиной начинали уже расходиться; говорили, что надо надеть плащи; на воде будет холодно. Собирались кататься на лодках по озеру при луне – очередная безумная выдумка Салли. Он слышал, как она расписывает луну. И все ушли. Он остался один.

– А вы разве не идете? – спросила тетя Елена; бедная старушка, она догадалась! Он обернулся и увидел Клариссу. Она вернулась, за ним. Его ошеломило ее благородство – ее доброта.

– Идем же, – сказала она. – Там ждут.

Никогда за всю свою жизнь он не был так счастлив! Без единого слова они помирились. Они шли к озеру. Двадцать минут совершенного счастья. Ее голос, смех, ее платье (что-то веющее, белое и малиновое), ее настроение, дух приключений; она заставила всех высадиться и исследовать остров; спугнула курицу; она хохотала; пела. И все время, все время он в себе чувствовал: Дэллоуэй влюблялся в нее; она влюблялась в Дэллоуэя; но как-то это было не важно. Все было не важно. Они сидели на земле и болтали – он и Кларисса, и

все выражалось и схватывалось само, без малейших усилий. А потом, в секунду, настал конец. Он сказал себе, когда сели в лодку: «Она выйдет замуж за этого человека», устало сказал, без досады; но все было ясно. Дэллоуэй женится на Клариссе.

Греб Дэллоуэй. Он все время молчал. Но почему-то, когда он вспрыгнул на велосипед с тем, чтоб сделать двадцать миль лесом, и, клонясь на вильнувшей дорожке, исчезая, помахал им рукой, стало с очевидностью ясно, как он ощущает – нутром, глубоко и мучительно – все это: ночь, нежность, Клариссу. Он ее заслужил.

Сам же он вел себя нелепо. Его требования к Клариссе (теперь-то он видит) были нелепы. Он хотел невозможного. Устраивал дикие сцены. Но, может быть, она все равно бы пошла за него, не веди он себя так нелепо. Так Салли считала. Все то лето она писала ему длинные письма; они-де про него говорили; она-де хвалила его, и Кларисса расплакалась! Невероятное лето; письма, сцены, телеграммы; приезды в Бортон ни свет ни заря, дурацкая неприкаянность, покуда не встанут слуги; чудовищные завтраки tête-à-tête [1] со старым мистером Парри. Свирепая, но к нему снисходительная тетя Елена; Салли, таскавшая его для срочных бесед в огород; Кларисса – в постели из-за мигреней.

Решительная, последняя сцена, ужасная сцена, значившая, наверное, больше всего в его жизни (возможно, пре-

[1] Наедине *(фр.)*.

увеличение, но сейчас ему кажется так), произошла в три часа, в один очень жаркий день. Началось с пустяка, Салли упомянула за завтраком Дэллоуэя и назвала его «Но я Дэллоуэй!»; после чего Кларисса вдруг сжалась, залилась краской, как это с нею бывало, и отчеканила: «Мы уже слышали эту глупую шутку». Вот и все. Но для него она все равно что сказала: «С вами я просто развлекаюсь, а серьезно я отношусь к Ричарду Дэллоуэю». Так он ее понял. Не одну ночь он провел без сна. Он сказал себе: «Будь что будет, но надо с этим покончить». Он послал ей через Салли записку, прося о встрече возле фонтана, в три. «По очень важному поводу», – приписал он в конце записки.

Фонтан стоял посреди кустарника, вдали от дома, и всюду были кусты и деревья. Она пришла, даже раньше времени, фонтан разделял их и непрестанно ронял (был испорчен) каплями воду. Как застревают в памяти зрительные впечатления! Например, тот едко-зеленый мох.

Она не двигалась. «Скажи мне правду, скажи мне правду», – повторял он бессмысленно. У него раскалывалась голова. Кларисса будто застыла, стояла как каменная. Она не двигалась. «Скажи мне правду», – повторял он, когда старик Брайткопф на ходу высунул голову из-за своей «Таймс»; вылупился на них; открыл рот и ушел восвояси. Они оба не двинулись. «Скажи мне правду», – повторял он. Он будто врезался с усилием во что-то физически твердое; она не поддавалась. Она была как железо, кремень, она совершенно за-

стыла. И когда она сказала: «Не к чему, не к чему. Это конец», – после того, как он говорил, ему казалось, часами, в слезах, – она будто ударила его по лицу. Она повернулась, она бросила его, она ушла.

– Кларисса! – кричал он. – Кларисса! – Но она так и не вернулась. Все было кончено. В ту же ночь он уехал. Он больше не видел ее.

Ужасно, кричал он, ужасно, ужасно!

А впрочем, солнце пекло. Впрочем, все проходит. Жизнь шла своим чередом. Впрочем, думал он, зевая и приходя постепенно в себя, в Риджентс-Парке мало что переменилось со времен его детства – вот разве что, может быть, белки, – но были, наверное, и новые радости – вот малышка Элси Митчелл, она собирала камушки для коллекции камушков, которая была у них с братиком на камине в детской, бухнула на бегу полную пригоршню к няне в подол и со всего размаха налетела на ноги какой-то тети. Питер Уолш рассмеялся. А Лукреция Уоррен-Смит думала: «Это гадко, за что я должна страдать?» – спрашивала она, идя по широкой дорожке. Нет, сил никаких больше нет, думала она, бросив Септимуса, а в общем-то, он уже и не Септимус никакой, раз он говорит эти страшные, злые, гадкие вещи, и пусть говорит сам с собой, с мертвецом со своим говорит там на скамейке; но тут малышка со всего размаха налетела на нее, растянулась и расплакалась.

И Лукреции полегчало. Она поставила девочку на ножки, отряхнула ей платьице, поцеловала ее.

Она же ничего плохого не сделала; любила Септимуса; была такая счастливая; и у нее был такой чудный дом, сестры и сейчас там живут, делают шляпки. За что же она-то должна страдать?

Малышка кинулась к няне, и Лукреция видела, как та бранит, утешает, берет ее на ручки, отложив вязанье, а добрый на вид господин дал ей часы («подуй-ка на крышку – откроются»), – но ей-то все это за что? Зачем надо было тащить ее из Милана? И мучить? За что?

Чуть покачивались от слез дорожка, няня, господин в сером, колясочка, поднимались и опадали. Теперь этот злой мучитель будет вечно ее терзать. За что? Она словно пташка, укрывшаяся под листком; шевельнется листок, и она мигает; дрожит, когда хрустнет сухой сучок. За нее некому заступиться. Высокие деревья были кругом, и огромные облака – все чужое; и некому за нее заступиться; и вечно ей мучиться; за что же страдать? За что?

Она нахмурилась, топнула ножкой. Надо вернуться к Септимусу, им уже время идти к сэру Уильяму Брэдшоу. Надо вернуться – сказать, а то он сидит там под деревом на зеленом стульчике и говорит сам с собой или с этим покойником Эвансом, она всего раз его видела в лавке. Тихий, хороший, большой друг Септимуса; его убили на войне. Что ж, бывает. У всех убивают друзей на войне. И все жертвуют чем-то,

когда женятся. Она родиной пожертвовала. Переехала сюда, в этот жуткий город. А Септимус забивал себе голову разными ужасами, так и она бы могла, только дай себе волю. Он делался все непонятней. Говорил, что за стеной спальни слышит какие-то голоса. Миссис Филмер просто диву давалась. И видел видения. Старушечью голову в папоротнике разглядел. А ведь мог бы быть счастлив – пожалуйста. Они ездили в Хэмптон-Корт на втором этаже автобуса и так были счастливы. Красные и желтенькие цветки повысыпали в траве, он сказал – как плавучие лампочки, и он все время болтал, и смеялся, и сочинял разные веселые глупости. А когда стояли у реки, он вдруг сказал: «А теперь мы покончим с собой», – и посмотрел на воду такими глазами, она и раньше за ним замечала, он так смотрел – на автобусы, на поезда, как зачарованный; и она почувствовала: он от нее уходит, и она схватила его за руку. Но потом, когда возвращались домой, он был уже совершенно спокойный и рассудительный; объяснял, почему им надо покончить с собой; и как люди злы; как он видит всю их лживость, когда они проходят мимо по улице. Он, мол, насквозь их видит; он, мол, все знает. Знает смысл жизни.

А когда пришли домой, он еле ноги волочил. Лег на диван и попросил, чтоб она держала его за руку, а то, мол, он падает, падает, падает, кричит, падает в огонь! И каких-то людей увидел, будто бы они смеются над ним со стен, и страшно, жутко как-то его обзывают, и тычут в него из-за ширмы паль-

цами. А ведь никого не было. Но он начал вслух говорить, отвечает кому-то, спорит, хохочет, плачет – и велел ей записывать. Чушь какую-то; насчет смерти; насчет мисс Изабел Поул. Просто невыносимо. Но надо вернуться к Септимусу.

Вот она подошла. Так и есть: опять он смотрит в небо, бормочет, всплескивает руками. А доктор Доум говорит: ничего с ним серьезного. Тогда отчего это все? Отчего он вдруг, почему, когда она села рядом, отчего он весь дернулся, и покосился так зло, и отпрянул, и показал ей на руку, схватил ее за руку и в ужасе на эту руку уставился?

Может, из-за того, что она обручальное кольцо сняла? «У меня рука похудела, – она сказала. – Я его в сумку спрятала», – она ему сказала.

Он отпустил ее руку. Брак их расторгнут, подумал он, с мукой, с облегчением. Перерезана веревка; он парит; он свободен, как заповедано было, чтобы он, Септимус, Господь людям, был свободен; один (раз его жена выбросила обручальное кольцо, раз она предала его) он, Септимус, один призван, избран услышать истину, познать смысл, ибо после всех трудов цивилизации (греки, римляне, Шекспир, Дарвин и наконец-то он сам) настала пора открыть этот смысл непосредственно… «Кому?» – спросил он вслух. «Премьер-министру», – прошелестели голоса над его головой. Следует открыть кабинету министров тайное тайных: во-первых, деревья – живые; затем – преступления нет, затем – любовь, всеобщая любовь, он бормотал, дрожа, задыхаясь, и эти глубо-

кие, скрытые, зарытые истины было мучительно трудно выговорить, но они полностью и навек изменят мир.

Преступления нет, любовь… – повторял он, нащупывая карандаш и блокнот, но тут фокстерьер стал обнюхивать ему брюки, и он в ужасе дернулся. Пес превращался в человека! Только не видеть! Отвратительно, страшно – видеть, как превращается в человека пес! И тотчас собака затрусила прочь.

Беспредельна милость благих небес! Его пощадили, снизошли к его слабости. Но каково же научное объяснение (ко всему ведь нужен научный подход)? Почему его взгляд все проникает насквозь и прозревает будущее, когда собаки превратятся в людей?

Возможно, тепловая волна воздействует на мозг, восприимчивый благодаря зонам эволюции. Научно говоря, плоть оплывает, отторгается от мира. Тело его истаяло таким образом, что остались одни нервные окончания. Он как туман лежит на скале.

Он откинулся на стульчике, изнуренный и радостный. Он отдыхал и ждал, когда снова сможет вещать, с усилием, с мукой, вещать человечеству. Он лежал высоко-высоко, у мира на спине. Земля дрожала под ним. Красные цветы прорастали у него сквозь мясо; шершавые их листья шелестели над головой; наверху были скалы; они звенели. Это машина гудит на улице, пробормотал он; но там, в вышине, гудок палил по скалам, дробился, снова плотнел, и звуковые удары в стройных столбцах (оказывается, музыка бывает видна – это

открытие) взмывали вверх и делались гимном, и гимн свивался с дудочкой подпаска (это старик свистит на свистульке в кабаке, пробормотал он), и когда подпасок стоял на месте, звук шел из дудочки пузырьками, а как только мальчик поднимался чуть-чуть, тонкие нежные стенания растекались над тряско грохочущей улицей. Он исполняет свою элегию прямо на мостовой, думал Септимус. Вот подпасок уходит в нагорные снега, увитый розами – пышными красными розами (как у меня в ванной на стене, вспомнил Септимус). Музыка замерла. Значит, он собрал монеты в шапку и подался в другой кабак.

А сам он был высоко на скале, как тело утонувшего матроса, выброшенное на скалу волнами. Я перегнулся через край лодки, и вот я упал, думал он. Я пошел ко дну, ко дну. Я был мертвым, но вот я ожил, только не трогайте вы меня, молил он (опять он заговорил вслух – ужасно, ужасно!), и, как перед пробуждением птичий гомон и гам улицы дрожат дружно, в лад, и, делаясь громче и громче, катят спящего к берегу жизни, так и его прибивало к берегу жизни, солнце пекло, надсаживался крик, и что-то страшное могло стрястись с минуты на минуту.

Только б открыть глаза; но на них что-то давило; давил страх. Септимус поднатужился; вытянулся; открыл глаза; увидел перед собой Риджентс-Парк. Длинные полотнища света льнули к его ногам. Деревья колыхались, шатались; мы рады, будто говорил мир; мы согласны; мы создаем; со-

здаем красоту, будто говорил мир. И словно для того, чтобы это доказать (научно), куда б ни взглянул Септимус – на дома, ограды, на антилоп, выглядывающих из зоологического сада, – отовсюду навстречу ему вставала красота. Какая радость – видеть бьющийся на ветру листок. В вышине ласточки виляют, ныряют, взмывают, но с неимоверной правильностью, будто качаются на невидимой резинке; а как вверх-вниз носятся мухи; и солнце пятнает то тот листок, то этот, заливая жидким золотом, исключительно от избытка счастья. И такой идет, идет по траве колдовской перезвон (возможно, это часто-часто гудит машина) – и все, как бы ни было просто, как бы ни составлялось из пустяков, но стало отныне истиной. Красота – вот что есть истина. И красота – всюду.

– Уже время, – сказала Реция.

Со слова «время» сошла шелуха; оно излило на него свои блага; и с губ, как стружка с рубанка, сами собой, белые, твердые, нетленные, побежали слова, скорей, скорей занять место в оде Времени – в бессмертной оде Времени. Он пел. Эванс отзывался ему из-за вяза. Мертвые в Фессалии, пел Эванс, средь орхидей. Там они выжидали конца войны. И вот теперь мертвецы, и сам Эванс…

– Бога ради, не подходите! – вскрикнул Септимус. Он не мог смотреть на покойников.

Но раздвинулись ветки. Человек в сером действительно шел прямо на них. Эванс! Но ни грязи, ни ран – он такой же,

как был. Я возвещу это всем народам, кричал Септимус, подняв руку (а покойник в сером к нему приближался), подняв руку, как черный колосс, который веками одиноко горевал в пустыне о судьбах людей, зажав в ладонях лицо, все в бороздах скорби, но вот он увидел полосу света над краем пустыни, и она длилась вдали, и свет ударил в колосса (Септимус приподнялся со стула), и в прахе простерлись пред ним легионы, и в лицо безмерного плакальщика тотчас…

– Мне до того плохо, Септимус, – говорила Реция, пытаясь его усадить.

Миллионы стенали; веками скорбели они. Надо повернуться, сказать им, сейчас, сейчас он скажет про эту радость и благодать, про беспримернейшее открытие…

– Время, Септимус, – повторяла Реция. – Сколько сейчас?

Он бормотал, он весь дергался, тот господин, наверное, заметил. Он смотрел прямо на них.

– Сейчас я скажу тебе время, – произнес Септимус очень медленно, очень сонно и загадочно улыбнулся покойнику в сером. И тут пробило четверть – было без четверти двенадцать.

Молодость называется, думал Питер Уолш, проходя. Устроить ужасную сцену (бедная девочка, кажется, сама не своя), и прямо с утра. И с чего бы? – гадал он. Что мог ей сказать этот молодой человек в пальто, чем довел он ее до отчаяния? Что у них, у бедняжек, стряслось? Оба такие потерянные, и в такое дивное утро? Самое забавное, когда воз-

вратишься в Англию после пяти лет отлучки, по крайней мере вначале все видишь будто бы в первый раз; под деревом ссорится парочка; семейные сцены по паркам. Никогда еще не видел он Лондон таким привлекательным – тающие дали; роскошь; зелень; цивилизация – да, после Индии, думал он, ступая по траве.

Эта его восприимчивость, впечатлительность – конечно, сущее бедствие. В его-то возрасте перепады настроения, как у мальчишки какого-нибудь или даже скорей у девчонки; без всяких причин день – прекрасно, день – скверно; он просто счастлив, когда встретит хорошенькую мордашку, и положительно убит при виде страшилища. Конечно, после Индии тут в каждую встречную можно влюбиться. Свежесть какая; и даже самая бедненькая одета лучше, чем пять лет назад; да, на редкость удачная мода; длинные черные плащи; стройность; изящество; и потом – прелестный этот и, кажется, общий обычай краситься. У каждой женщины, даже самой почтенной, цветут на щеках нежные розы; губы как ножом вырезаны; локоны черны, как тушь; во всем расчет, искусство; да, безусловно имеют место какие-то перемены. И чем, интересно, теперь занята молодежь? – спрашивал себя Питер Уолш.

Наверное, именно за эти пять лет – с 1918-го до 1923-го – многое почему-то существенно изменилось. Люди иначе выглядят. Газеты стали другие. Например, кто-то взял и тиснул в солидной газете статью, понимаете ли, о ватерклозетах.

Десять лет назад о таком и не помышляли: взять и тиснуть статью о ватерклозетах в солидной газете. А эта манера – вынуть из сумочки помаду и пудру и у всех на глазах наводить красоту? Когда он сюда ехал, на пароходе была бездна юнцов и девчонок – особенно он запомнил таких Бетти и Берти, – они флиртовали в открытую; мамаша сидела, вязала, смотрела и бровью не вела. Девчонка пудрила нос у всех на виду. И ведь они не то что жених и невеста; ничуть; просто шалят; и никаких тебе оскорбленных чувств; да, надо сказать, штучка с перцем, эта Бетти – и притом вполне, в общем, ничего. Годам к тридцати будет прекрасной женой – выйдет замуж, когда приспеет пора; выйдет за богача и станет с ним жить-поживать в роскошном доме под Манчестером.

Да, с кем же на самом-то деле так получилось? – спрашивал себя Питер Уолш, сворачивая на Главную аллею. Вышла за богача, живет в роскошном доме под Манчестером? Она еще ему написала недавно длинное, пламенное послание насчет «голубых гортензий». Увидела, мол, голубые гортензии и вспомнила про него, про старые времена – ах, господи, да Салли Сетон, конечно! Салли Сетон – вот уж меньше всего можно было рассчитывать, что она выйдет за богача и станет жить в роскошном доме под Манчестером, кто-кто, но она-то – отчаянная, непутевая, романтическая Салли!

Правда, из этой братии, из Клариссиных старых друзей – всех этих Уитбредов, Киндесли, Каннинэмов, Кинлох-Джонсов, – Салли, наверное, самая милая. Она хоть ста-

ралась разобраться, что к чему. Она хоть раскусила Хью Уитбреда – дивного Хью, – а ведь остальные, в том числе и Кларисса, смотрели ему в рот.

– Уитбреды, – он так и слышит голос Салли. – Да кто они такие, Уитбреды? Торговцы углем. Почтенные торгаши.

Она почему-то не выносила этого Хью. Говорила: ему на все наплевать, кроме собственной внешности. Ему бы, говорила, быть членом королевской фамилии. Вот увидите, он женится на одной из принцесс. И верно – он в жизни не видывал, чтобы кто-то еще, кроме Хью, так истово, набожно, так торжественно преклонялся перед английской аристократией. С этим даже Кларисса принуждена была согласиться. Ах, но зато какая он прелесть, как самоотвержен, бросил охоту, чтоб успокоить старушку мать, не забывает тетушкин день рождения и прочее.

Салли, следует ей отдать должное, не попалась на эту удочку. Как-то воскресным утром в Бортоне – этот случай ему особенно врезался в память – шел спор о правах женщины (допотопная тема), и Салли вдруг вспылила, взорвалась и объявила Хью, что он воплощение самых мерзких черт английской буржуазии. Объявила, что он-де виновен в участи «бедных девушек на Пиккадилли» – и это Хью, безупречный джентльмен, бедняжка Хью! – надо было видеть его ошарашенную физиономию! Она нарочно хотела уязвить Хью, она потом объяснила (они с ней бегали в сад обмениваться впечатлениями). «Он ничего не читает, ничего не думает, ниче-

го не чувствует, – он так и слышит взволнованные обертоны ее голоса, придававшие словам не предусмотренный ею смысл. – Ведь это же не человек – в любом конюхе больше человеческого, – она говорила. – Типичнейшее порождение закрытой школы, – она говорила. – Такое только в Англии уродиться может». Она почему-то не в шутку злилась; имела зуб против Хью; что-то у них получилось – дай Бог памяти, – да, в курительной; он ее оскорбил – поцеловал, что ли? Невероятно! Никто не верил, конечно. Естественно. Целовать Салли в курительной! Хью! Ну, будь это какая-нибудь сиятельная особа – куда бы ни шло; но не оборванку же Салли без гроша за душой, у которой не то отец, не то мать продувается в Монте-Карло. Потому что в жизни он не видывал такого сноба, как Хью. Самый раболепный сноб. Не то чтоб буквально ползать на брюхе; он слишком напыщен для этого. Камердинер высокого класса – да, вот это сравнение в самую точку; который исправно принесет чемоданы, разошлет телеграммы, – незаменим для хозяйки. Ну, и нашел себе службу – женился на своей сиятельной Ивлин; получил местечко при дворе, ведает королевскими погребами, драит пряжки на монарших штиблетах, расхаживает в белых шелковых чулках и кружевных жабо. О, беспощадная жизнь! Местечко при дворе!

Хью женился на своей сиятельной леди, на своей этой Ивлин, и вот они живут где-то тут, кажется (он окинул взглядом внушительные дома, выходящие на парк), он ведь как-

то у них даже обедал, и в доме у Хью, как во всех его приобретениях, было что-то нелепое – бельевые чуланы, что ли? Их непременно надо было осматривать; вообще надо было долго восхищаться уж чем придется – бельевыми чуланами, наволочками, старинной дубовой мебелью, картинами, которые Хью сумел раздобыть по дешевке. Правда, супруга Хью иногда вдруг портила ему музыку. Она была из тех невзрачных мышек, которые ценят в мужчинах рост. Почти пустое место. Но нет-нет, вдруг вставит словцо, и весьма, между прочим, хлесткое. Пережитки аристократизма, по-видимому. Уголь, паровики и топки были для нее немного чересчур – ну, и накаляли атмосферу. И вот живут себе здесь, со своими старыми мастерами и наволочками в настоящих кружевах, проживают пятьдесят тысяч в год, а он, на два года старше Хью, должен выклянчивать хоть какую-то службу.

В пятьдесят три года надо еще просить, чтоб его сунули протирать штаны в учреждении, или обучать мальчишек латыни, или бегать на побегушках у важного чинуши, ради пяти сотен в год; потому что, если он женится, даже с пенсией, на меньше им с Дейзи не продержаться. Наверное, Уитбред сможет его пристроить или Дэллоуэй. Почему б не обратиться к Дэллоуэю? Он вполне ничего; ну, твердолобый; ну, звезд с неба не хватает; верно; но вполне ничего. За что бы ни взялся, во всем деловит и разумен; никакого полета; ни искорки блеска, но – на редкость положительный и милый. Ему бы помещиком жить – его губит эта политика. Лучше

всего он на лоне природы, с лошадьми, с собаками – как хорош он был, например, когда Клариссин этот косматый пес попал в капкан и ему чуть не оттяпало лапу, и Клариссе стало дурно, и все-все взял на себя Дэллоуэй: перевязал, наложил шину; велел Клариссе взять себя в руки. Вот за что, наверное, она и полюбила его, вот что, наверное, и было ей нужно. «Кларисса, милая, возьмите себя в руки. Держите то, принесите это». И все время он разговаривал с собакой как с человеком.

Но как могла она глотать этот бред на тему о поэзии? Слушать, что он нес о Шекспире? Вполне серьезно, с благородным негодованием Ричард Дэллоуэй сообщал, что порядочный человек не должен читать сонетов Шекспира, как не должен подсматривать в замочную скважину (впрочем, и отношений он этих не одобряет). Порядочный человек не пошлет свою жену навещать сестру покойной жены. Даже, ей-богу, не верится! Хотелось забросать его засахаренным миндалем – как раз обедали. Кларисса же слушала, открыв рот; это так честно с его стороны; такая независимость мысли. Господи, уж не сочла ли она его оригинальнейшим из умов, какие ей доводилось встречать, кто ее знает!

Это, между прочим, тоже связывало его с Салли. Они часто гуляли по саду, по той отгороженной части, где были розовые кусты и огромнейшая цветная капуста – помнится, Салли как-то сорвала розу, остановилась, шумно восхищаясь красотой капустных листьев в лунном свете (странно, и

как это всплыло все, сто лет ведь не вспоминал), а разговор, конечно, шел о Клариссе. Салли молила его, полушутя, разумеется, умыкнуть Клариссу, спасти от Хью и Дэллоуэев и прочих «безупречных джентльменов», которые «загубят ее душу живую» (Салли тогда целые вороха бумаги исписывала стихами), сделают из нее исключительно хозяйку салона, разовьют ее суетность. Но надо отдать должное Клариссе. За Хью она никогда бы не вышла. У нее было очень четкое понятие о том, что ей нужно. Мало ли что кому она говорила. Очень тонкая и проницательная – по существу-то она куда лучше разбиралась в людях, чем та же Салли, а притом она настоящая женщина; у нее дар, чисто женский дар создавать вокруг себя свой собственный мир, где бы она ни оказалась. Вот она входит в комнату; стоит на пороге, он это часто видел, и кругом полно народу. Но запомните вы непременно Клариссу. Не то чтоб она бросалась в глаза; не очень красивая даже; ничего в ней особенного; и не скажет она ничего такого уж умного; просто это она; она есть она.

Нет, нет, нет! Конечно. Вовсе он в нее не влюблен! Просто, как увидел ее утром с этими ее ножницами и нитками, за подготовкой к приему, так она и не идет у него из головы; просто она неотвязно наплывает на мысли, как на тебя наплывает, подпрыгивая, пассажир, клюющий носом напротив в купе; это, разумеется, далеко не влюбленность; просто он думает о ней, осуждает ее, он снова, после тридцати лет, пытается в ней разобраться. Самое банальное, что мож-

но о ней сказать – что она суетная; слишком печется о положении, ранге, успехе, и в известном смысле это так и есть; она даже ему сознавалась. (Она всегда сознàется вам в своих недостатках, если об этом постараться; она честна.) Она сама говорила, что ей претят распустехи, размазни и разини. Такие, как он, по-видимому; что никто не имеет права слоняться и праздно шататься; что каждый обязан что-то делать, кем-то быть; а обо всех этих важных особах, этих графинях и допотопных старухах герцогинях, которых он видел у нее в гостиной и в которых он лично, хоть убей, не усматривал ровным счетом ничего интересного, она рассуждала совершенно всерьез. Леди Бексборо, она как-то сказала, – несгибаемая (сама Кларисса – тоже: не гнется ни в буквальном смысле, ни в переносном; прямая, как стрела; даже чуть-чуть негибкая). В них, она как-то сказала, есть мужество, которое она с возрастом ценит все больше и больше. Разумеется, тут многое идет от Дэллоуэя; многое от этого шаблонно-гражданственного, великобританского, правительственного и заурядного духа, который, как водится, ее заразил. Вдвое его умней, она на все смотрит глазами Дэллоуэя – тоже один из ужасов брака. С ее умом – вечно цитировать Ричарда, будто трудно тютелька в тютельку угадать, что он подумал, читая сегодняшнюю «Морнинг пост». И приемы свои, кстати, она тоже затевает ради него, верней, ради созданного ею самой образа Дэллоуэя. (Сам-то Ричард, надо отдать ему должное, был бы куда счастливей, займись он сельским хозяйством в

Норфолке.) В своей гостиной она сводит нужных друг другу людей; тут у нее просто дар какой-то; сколько раз он наблюдал, как, взявшись за какого-нибудь юнца, она его встряхивает, крутит, заводит, пускает в ход. Вокруг нее толчется, конечно, бездна всякого нудного люда. Но нет-нет и вынырнет вдруг поразительный человек: то вдруг художник; то писатель; залетные птицы в такой атмосфере. И ведь за всем этим целая кухня – визиты, карточки, благодеяния, букеты, подарки; такой-то едет во Францию, ему срочно необходима надувная подушка; сколько сил ухлопывается на бесконечную эту возню у дам с ее положением; но у Клариссы-то все искренне, все от естественной внутренней потребности.

Странно, она ведь чуть не самый отъявленный скептик, каких ему только приходилось встречать, а возможно (эту теорию он некогда сочинил, чтоб объяснить себе Клариссу – в чем-то такую понятную, а в чем-то непостижимую), возможно, она сказала себе: «Раз мы обреченное племя, прикованное к тонущему кораблю (ее любимые авторы в детстве были Гексли и Тиндаль, а уж они обожают морские метафоры), раз дело дрянь, надо, по крайней мере, исполнять свою роль – облегчать мучения собратьев-узников (снова Гексли), украшать застенок цветами и надувными подушками; быть как можно пристойней». Нет, не выйдет у негодяев-богов все как им заблагорассудится, потому что боги, по ее понятиям, никогда не упустят случая напакостить, испортить человеку жизнь, но всерьез теряются, если все-таки ты ведешь се-

бя как настоящая леди. Это пошло у нее сразу после смерти Сильвии – чудовищная история. Видеть, как на твою родную сестру валится дерево (все Джастин Парри виноват – все его ротозейство) и она умирает прямо у тебя на глазах, совсем девочка и самая, Кларисса всегда говорила, из них одаренная, – тут поневоле ожесточишься. Потом-то, пожалуй, она поутихла; сочла, что нет никаких богов; винить некого; и отсюда эта ее атеистическая религия – делать добро ради самого добра.

И, конечно, она удивительно любит жизнь, радуется жизни. В природе ее – радоваться (хотя, кто ж ее знает, что там творится у нее в глубине души; это всего лишь эскиз, наметка, и даже ему, после стольких лет, не дано полней очертить характер Клариссы). Во всяком случае, ожесточенности нет в ней; нет совершенно той нравственной добродетели, которая в хороших женщинах так нестерпима. Она наслаждается положительно всем. Если идти с ней по Гайд-Парку, она залюбуется клумбой с тюльпанами, умилится детской колясочкой и с ходу, из ничего, создаст потешную сценку (скорей всего, она завела б разговор с этой ссорящейся парочкой, если б решила, что им плохо). Удивительно у нее развито чувство комического, но ей вечно нужны люди, люди для постановки спектаклей, и в результате она тратит время по пустякам, на завтраки, на обеды, устраивает бесконечные свои приемы, болтает вздор, говорит, чего не думает, и притупляет остроту своего ума, теряет критерии. Она может сидеть во

главе стола и лезть из кожи вон, ублажая какого-нибудь старого болвана, нужного Дэллоуэю – и где они только, ей-богу, откапывают таких, – но входит Элизабет, и все подчиняется ей. Когда он тут был прошлый раз, она училась в школе, в каком-то там классе – пучеглазая, бледная девочка, ничего не взяла от матери, молчаливое, флегматическое создание, принимала как должное, что мать вокруг нее пляшет, а потом спросила: «Мне можно уйти?» – будто она четырехлетнее дитятко; пошла, как Кларисса объяснила с той смесью веселого недоумения и гордости, какие вызывал в ней, кажется, и сам Ричард, играть в хоккей. А теперь Элизабет, наверное, «выезжает», его сочла старым пентюхом, посмеивается над материнскими склонностями. Ладно, пусть. Утешение старости, думал Питер Уолш, выходя из Риджентс-Парка со шляпой в руке, в том-то и состоит: страсти в нас ничуть не слабеют, но обретаешь – наконец-то! – способность, в которой самая изюминка и есть – способность овладеть пережитым, ухватить его и медленно, медленно поворачивать на свету.

В таких вещах даже страшно сознаваться (он снова надел шляпу), но теперь, в свои пятьдесят три, он почти не нуждается в людях. Сама жизнь, каждый миг ее, каждая капля, – вот то, что сейчас, тут, Риджентс-Парк, солнце – и спасибо. И чересчур даже много. И всей жизни не хватит, оказывается, чтоб уж научиться как следует наслаждаться этой изюминкой; выжимать каждую унцию радости; все оттен-

ки смысла; ибо и то и другое раскрывается нам, наконец, в невыдуманной серьезности, не то что когда-то. Теперь уж он не будет страдать, как когда-то из-за Клариссы. Между прочим, часами подряд (господи, какое счастье, что никто не может подслушать его мыслей), часами и днями он думать не думал о Дейзи.

Возможно ли? Вспоминая ужас и муку, чудовищную тоску тех дней – он все же влюблен? Да, теперь-то дело другое – и куда приятней, – теперь уж она влюблена. И потому, вероятно, когда отчалил-таки пароход, он ощутил невыразимое облегчение и единственное желание – побыть одному, и его раздражали ее милые знаки внимания – сигары, плед и записочки, обнаруженные в каюте. И каждый, если только он честен, вам то же скажет; после пятидесяти люди уже не нужны; после пятидесяти надоедает твердить женщинам, какие они хорошенькие; это вам каждый скажет, кому за пятьдесят, думал Питер Уолш, если только он честен.

Ну а эти приступы чувствительности – утренние слезы – как прикажете понимать? Что подумала о нем Кларисса? Сочла, вероятно, кретином, и не впервые. В основе всего лежит ревность, ревность – самое прочное из чувств человеческих, думал Питер Уолш, держа перочинный нож в вытянутой руке. Дейзи в последнем письме написала, что виделась с майором Одом; написала, он был уверен, нарочно, чтоб заставить его ревновать; он видел воочию, как она морщит лоб над письмом, прикидывая, чем бы его уязвить. И все равно.

Он разъярился! Всю эту суетню – поездку в Англию, встречу с адвокатами – он затеял не ради того, чтоб на ней жениться, а чтоб не дать ей выйти за кого-то другого. Вот что его мучило, вот что он понял, пока смотрел на Клариссу, спокойную, холодную, сосредоточенную на своем платье, или что там она еще штопала; и видел со стороны – могла бы, кажется, пощадить, не доводить его до такого, – как сам он хлюпает, шмыгает носом, старый осел. Женщинам вообще, подумал он и защелкнул нож, не понять, что такое любовь. Им не понять, что значит она для мужчины. Кларисса холодна, как ледышка. Сидела рядом на кушетке, позволила взять ее за руку, чмокнула в щеку… А, вот и переход.

Его отвлек звук; жидкий, зыбкий звук; голос тек, без направления, напора, без конца и начала, и вливался, слабо и пронзительно-тоненько и без всякого смысла в

и… у… лю… ня…
да и го… и… шки…

голос без возраста, пола, голос древней струи, бьющей из-под земли; и шел он – прямо напротив станции метро «Риджентс-Парк» – из тени, зыбкой, высокой, шел, как из воронки, как из ржавого насоса, как из голого навеки безлистого дерева, когда буря щиплет ветви и оно поет:

и… у… лю… ня…
да и го… и… шки…

и скрипит, и никнет, и стонет от вечного ветра.

Века и века – когда мостовая была еще лугом, болотом, во времена еще бивней и мамонтов, во времена немых зорь, – обтрепанная женщина (ибо тень была в юбке), протягивая правую руку, а левую прижимая к груди, стояла и пела про любовь, любовь, которой мильоны лет, она пела, и нет ей конца, и мильоны лет назад любимый (давно он в могиле лежит) гулял, она пела, вместе с нею по маю; но миновали века, пробежали, как летние дни, и не стало его, и горят только красные астры; смерть ужасным серпом скосила безмерные горы, и когда сама она припадет старой-старой, седой головою к земле – к заледенелому пеплу, – она попросит богов положить рядом с нею охапку лилового вереска, сюда, к ней положить, на могильный курган, пригретый последней лаской последнего солнца; и тогда только кончится праздник.

Старинная песня журчала перед станцией метро «Риджентс-Парк», земля же тем временем свежо зеленела и пестрела; и хоть эта песня вырывалась из столь страшных уст – будто из ямы в земле, грязной, заросшей травой и корнями, – а однако ж, урчала, журчала, клубилась, пробивалась сквозь путла корней и веков, сквозь скелеты и клады, и расплескивалась ручьями по мостовой, по Мэрилебон-Роуд, и текла дальше к Юстону, и удобряла почву, оставляя лужи.

Этот май, этот доисторический май, когда она гуляла с любимым, эта старая, жалкая (ржавый насос) будет помнить и

через десять мильонов лет и будет все так же стоять, простирая правую руку за медяками, а левую прижимая к груди, и петь, как гуляла когда-то по маю, там, где теперь разливается море, гуляла – с кем, не спрашивайте, с мужчиной, о! с мужчиной – и он любил ее. Долгие годы, однако ж, затуманили ясность того древнего майского дня; цветы побило морозом; и она уже не видела, моля (мольба как раз была очень отчетлива): «Посмотри в глаза мне нежным взглядом», уже не видела ни карих глаз, ни бачков, ни загорелой физиономии, а лишь зыбкий, тающий образ, и к нему-то она обращала старчески щебечущее: «Дай мне руку, сядь со мною рядом» (Питер Уолш не удержался и, влезая в такси, сунул бедняге монету) и «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?» – вопрошала она, и прижимала к груди кулак, и улыбалась, пряча шиллинг в карман, а любопытные взгляды стирались, вычеркивались, а проходящие поколения – кругом мельтешили и толклись горожане – исчезали, как листья, чтобы мокнуть и преть, становясь перегноем для той вечной весны.

И… у… лю… ня…
да и го… и… шки…

– Бедная старуха, – сказала Реция Уоррен-Смит.

Надо ж дойти до такого, думала она, ожидая у перехода.

А вдруг ночью дождь? Вот будешь так стоять, а мимо пройдет твой отец или кто-то, кто знал тебя в лучшие дни, и

увидит, до чего докатилась… И где она спит по ночам?

Бодро, весело даже, неукротимая ниточка песни вплеталась в день, как сельский дымок вплетается в чистую зелень буков, чтоб потом синей пасмой выбиться из-под верхних листьев. «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?»

С тех пор как стало ей плохо, вот уже несколько недель, Реция сделалась ужасно чувствительная, все на нее действовало, буквально все, иногда ей просто хотелось остановить кого-то на улице, кого-то хорошего, доброго с виду, и сказать: «Мне плохо»; но когда она услышала, как старуха поет: «Пусть смотрят, пусть видят, не все ли равно?» – она вдруг поняла, что все будет хорошо, они придут к сэру Уильяму Брэдшоу, у него даже фамилия приятная, и он сразу вылечит Септимуса. А рядом стояла подвода пивовара, у пегих битюгов в хвостах торчала солома; а дальше висели газеты. Ерунда, ей просто почудилось, будто ей плохо.

И они перешли улицу – мистер и миссис Уоррен-Смит, – и кто из прохожих догадался бы, что этот молодой человек несет избавление миру и вдобавок он счастливейший человек на земле и самый несчастный? Возможно, шли они несколько медленнее других, и молодой человек ступал както нехотя и с запинками, но это естественная походка для служащего, годами не наведывавшегося по будням в этот час дня в Уэст-Энд, и потому он поглядывает в небо, озирается туда-сюда, будто Портленд-плейс – зала, куда он вошел, когда хозяева дома в отъезде, и люстры раскачиваются в чех-

лах, и смотрительница, приподняв уголок длинной шторы и пустив пыльный луч к сиротливому, на себя не похожему креслу, объясняет посетителям, как тут чудесно, да, в самом деле чудесно, но как-то странно, однако, думает он.

С виду он и был похож на служащего, правда служащего высшего класса; у него были желтые ботинки; руки интеллигентного человека; тоже и профиль – резкий, носатый, умный и тонкий профиль; но губы подкачали, губы были расшлепанные; а глаза (это с глазами часто) были просто глаза и глаза – большие, карие; так что, в общем, неясно, куда его отнести – ни то ни се; такой может в конце концов зажить в своем доме на Поли и обзавестись машиной, а может всю жизнь проболтаться по меблирашкам; из тех недоучек, самоучек, которые все образование черпают из библиотечных книжек и читают их вечером, после работы, согласно советам известных писателей, выпрашиваемым по почте.

Что же до всех прочих переживаний, которые каждый одолевает в одиночку, в спальне, за рабочим столом, бродя по полям, и лугам, и по лондонским улицам, – они были у него; совсем мальчишкой он ушел из дому, из-за матери; она лгала; потому что он в сотый раз вышел к чаю, не вымывши рук; потому что в Страуде, он это понял, для поэта не было будущего; и вот он посвятил в свой замысел только сестренку и сбежал в Лондон, оставив родителям нелепую записку, какие пишут все великие люди, а мир читает только тогда, когда уже притчей во языцех сделается история их борьбы

и лишений.

Лондон заглатывал миллионами молодых людей по фамилии Смит; не принимал во внимание невообразимых имен, вроде имени «Септимус», какими родители надеялись выделить их из множеств. Если вы снимаете комнату за Юстон-Роуд, переживаний у вас достаточно, чтоб у вас изменилось лицо и за два года из наивно-розового овала превратилось в лицо тощее, угрюмое и неприязненное. И однако, что мог бы сказать чуткий и наблюдательный друг? Да то же, что скажет садовник, открыв поутру дверь теплицы и обнаружив там новый цветок. Он скажет: «Расцвел». Расцвел из суеты, тщеславия, выспренности, страсти, тоски, дерзновения и лени, обычного семени; все смешалось (в комнате за Юстон-Роуд), и он сделался робок, стал заикаться, решил исправиться, усовершенствоваться и влюбился в мисс Изабел Поул, которая читала лекции о Шекспире на Ватерлоо-Роуд.

«Ведь он похож на Китса?» – спрашивала она и решала, как бы приохотить его к «Антонию и Клеопатре» и прочему, давала ему книжки – почитать; писала незначащие записочки и зажгла в нем костер, какой лишь однажды в жизни горит; лишенный жара, дрожащий, красно-желтый, безмерно воздушный, эфемерный костер пылал над мисс Поул, «Антонием и Клеопатрой», над Ватерлоо-Роуд. Он считал ее красавицей, непогрешимой в суждениях; она снилась ему по ночам; он сочинял ей стихи, которые, не догадываясь об адресате, она правила красными чернилами. Однажды вечером,

летом, он видел, как она в зеленом платье брела по бульвару. «Расцвел», – сказал бы садовник, случись ему тогда открыть дверь и застать его там, где бывал он каждую ночь – за письменным столом; он писал и рвал написанное; он кончал шедевр к трем часам утра и выбегал бродить по улицам, и сегодня он посещал церкви и постился, а завтра он пьянствовал, и он глотал Шекспира, Дарвина, «Историю цивилизации» и Бернарда Шоу.

Тут что-то не так – мистер Брюер сразу смекнул; мистер Брюер, заведующий конторой у Сибли и Эрроусмитов, аукционистов, экспертов-оценщиков, агентов по продаже недвижимости; тут что-то не так, думал мистер Брюер, и, относясь отечески к своим юношам и будучи высокого мнения о данных Смита, пророча ему годиков этак через десять-пятнадцать кожаное кресло в кабинете среди карточек, – «если здоровье позволит», оговаривался мистер Брюер, да, тут-то и была закавыка, Смит был хилый, – мистер Брюер ему рекомендовал футбол, приглашал ужинать и обдумывал, как бы ходатайствовать о повышении ему жалованья, когда разразилось такое, что спутало все расчеты мистера Брюера, отняло у него лучших молодых людей, а вдобавок – от этой ужасной войны никуда не денешься – разбило гипсовую статую Цереры, вспахало клумбу с геранями и вконец расстроило нервы кухарке мистера Брюера – дома, на Максуэлл-Хилл.

Септимус в числе первых записался добровольцем. Он от-

правился во Францию защищать Англию, сводимую почти безраздельно к Шекспиру и бредущей в зеленом платье по бульвару мисс Изабел Поул. Там, в окопах, мигом исполнились пожелания мистера Брюера, рекомендовавшего футбол и перемену обстановки. Септимус возмужал; получил повышение; снискал внимание, даже дружбу своего офицера по имени Эванс. Это была дружба двух псов у камелька: один гоняет бумажный фунтик, огрызается, скалится и нет-нет да и тяпнет приятеля за ухо, а тот лежит, старичок, сонно, блаженно, мигает на огонь, слегка шевелит лапой и урчит добродушно. Им хотелось бывать вместе, изливаться друг другу, спорить и ссориться. Но когда Эванс (крепкий, рыжий, скромный с женщинами, Реция видела его всего раз, и она говорила про него: «Такой тихий»), когда Эванс был убит, перед самым перемирием, в Италии, Септимус не стал горько сетовать и тужить по прерванной дружбе и поздравил себя с тем, что так разумно отнесся к известию и почти ничего не чувствует. Война кой-чему научила его. Вот и роскошно. Он всего понавидался, хлебнул достаточно – война, дружба, смерть, – получил повышение, ему нет тридцати, умирать еще рановато, по-видимому. Тут он не ошибся. Последние снаряды не попадали в него. С совершенным безразличием он следил, как они разрываются. Заключение мира застало его в Милане, на постое у хозяйки гостиницы, в доме, где был внутренний дворик, цветы в кадках, столики под открытым небом, дочки – шляпные мастерицы и Лукреция, млад-

шая, к которой он посватался как-то вечером, когда на него накатил ужас из-за того, что он не способен чувствовать.

Война кончилась, подписали мир и закопали мертвых, а на него, особенно вечером, часто накатывал нестерпимый страх. Он не способен чувствовать. Открывая дверь комнаты, где итальяночки делали шляпки, он видел их; он слышал их; они натачивали проволочки среди цветных бусинок, разложенных на поддонах; они так и сяк вертели коленкор; стол был завален перьями, стеклярусом, нитками, лентами; порхали и щелкали ножницы над столом; но чего-то не хватало Септимусу; он ничего не чувствовал. Однако же смех девушек, щелканье ножниц, изготовление шляпок его завораживали; он чувствовал себя в безопасности; у него было прибежище. Но не мог же он тут оставаться ночь напролет. Он просыпался ни свет ни заря. Кровать проваливалась куда-то; сам он проваливался. Ох, где вы – щелканье ножниц, лампа и коленкор! Он предложил руку и сердце Лукреции, младшей, веселой, бездумной. У нее были тонкие пальчики мастерицы, она показывала их ему, говорила: «Здесь у меня – все». Шелк, перья, что хотите – в этих пальчиках все оживало.

– Самое первое дело – шляпка, – говорила она, когда они вместе гуляли по улицам. Она смотрела на каждую встречную шляпку; и на плащ, и на платье, и на то, как держится женщина. Нерях и разряженных она клеймила, раздраженно отмахиваясь от них, как художник отмахивается от заведомой, кричащей, наивной подделки; великодушно, не

без критических замечаний встречала какую-нибудь продавщицу, повязавшую нарядно простую косынку, и восторженно, с робким почтением знатока, обмирала при виде богатой француженки, выходящей из экипажа в шелках, шеншилях, жемчугах.

– Красиво! – шептала она и подталкивала локотком Септимуса. Но красота была под матовым стеклом. Даже вкусные вещи (Реция обожала шоколад, мороженое, конфеты) не доставляли ему удовольствия. Он ставил чашечку на мраморный столик. Смотрел в окно на прохожих; они толклись на мостовой, кричали, смеялись, легко перебранивались – им было весело. А он ничего не чувствовал. В кафе, среди столиков и болтовни официантов его охватывал тошный страх: он не способен чувствовать. Мыслить он мог – читать, например, Данте – совершенно свободно («Септимус, да оставь же ты свою книжку», – говорила Реция, ласково закрывая «Inferno»[2]); он умел проверять счета; мозг работал исправно, – значит, в мире есть что-то такое, раз он не способен чувствовать.

– Англичане ужасно молчаливые, – говорила Реция. Ей, она говорила, это даже приятно. Она уважала англичан, она мечтала увидеть Лондон, и английских лошадей, и английские костюмы, и там магазины такие, ей еще тетя рассказывала, которая вышла замуж и уехала жить в Сохо.

Очень возможно, думал Септимус, глядя на Англию из

[2] «Ад» *(ит.)* – первая часть «Божественной комедии» Данте. – *Примеч. перев.*

окна поезда, когда они ехали из Ньюхейвена, очень возможно, что мир вообще бессмыслен.

На службе ему сразу дали весьма ответственную должность. Им гордились. Он отличился на войне.

– Вы исполнили свой долг; теперь уж нам… – начал мистер Брюер; и он не мог кончить фразу, настолько отрадные на него нахлынули чувства. Молодые заняли уютную квартирку на Тоттнем-Корт-Роуд.

Здесь он снова раскрыл Шекспира. Мальчишество, обморочное опьянение словами – «Антоний и Клеопатра» – безвозвратно прошло. Как ненавидел Шекспир человечество, которое наряжается, плодит детей, оскверняет уста и чрево! Наконец-то Септимус понял, что скрыто за прелестью слов. Тайный сигнал, передаваемый из рода в род, – ненависть, отвращение, отчаяние. Таков и Данте. Таков же (в переводе) Эсхил. А Реция сидела у стола и делала шляпки. Она делала шляпки для приятельниц миссис Филмер; делала их часами. Бледная, загадочная, как лилия, как лилия под водой, думал он.

– Англичане ужасно серьезные, – говорила она, обнимая Септимуса, прижимаясь щекою к его щеке.

Любовь мужчины и женщины внушала омерзение Шекспиру. Совокупление ему под конец казалось развратом. А Реция говорила, что ей хочется ребеночка. Они уже пять лет как поженились.

Они вместе ходили в Тауэр; в Музей Виктории и Альбер-

та; ждали в толпе, когда король откроет парламент. И были еще магазины; шляпные магазины, магазины одежды, магазины, где в витринах стояли кожаные сумочки, и на них засматривалась Реция. Но ей хотелось мальчика.

Ей хотелось сына, в точности как Септимус. Только не бывает как Септимус; он такой ласковый и серьезный, такой умный. Может, и ей почитать Шекспира? Он трудный? – спрашивала она.

Нельзя обрекать детей на жизнь в этом мире. Нельзя вековечить страдания и плодить похотливых животных, у которых нет прочных чувств, одни лишь порывы, причуды, швыряющие их по волнам.

Он следил, как она щелкает ножницами, кроит. Так следят за птичкой в траве, боясь шелохнуться. Потому что на самом-то деле (только б она не узнала) люди заботятся лишь о наслаждении минутой, а на большее нет у них ни души, ни веры, ни доброты. Они охотятся стаями. Стаи рыщут по пустырям и с воем несутся в пустыни. И бросают погибших. На них маски, маски лгут. На службе – Брюер с нафабренными усами, коралловой булавкой, с белым галстуком и отрадными чувствами, а внутри холодный и липкий – герани у него погибли из-за войны, у кухарки расстроены нервы; или эта Берта, как, бишь, ее фамилия; ровно в пять разносит в чашечках чай, и косится, и скалится – ведьма; а сотруднички в крахмальных манишках, жирно лоснящихся пороком; посмотрели бы, как он их, поймав с поличным, разделывает

с натуры в блокноте. По улице мимо него грохочут фургоны; жестокость вопит с плакатов; мужчин подрывают на минах, женщин сжигают заживо; а как-то шеренгу увечных безумцев вели не то погулять, не то напоказ народу (народ хохотал до слез), и они, кивая и скалясь, ковыляли по Тоттнем-Корт-Роуд, и каждый чуть-чуть виновато, но с торжеством демонстрировал свои муки. Самому бы не спятить…

За чаем Реция сказала, что дочь миссис Филмер ожидает ребеночка. Ну а она тоже не может, не может дольше жить без детей! Ей так скучно, так плохо. В первый раз с тех пор, как они поженились, Реция плакала. Далеко-далеко он слышал ее плач; слышал ясно, отчетливо; сравнивал с шелестом поршня. Но он ничего не чувствовал.

Жена плакала, а он ничего не чувствовал; только каждый раз, когда она всхлипывала – тихо, горько, отчаянно, – он еще чуть-чуть глубже проваливался в пропасть.

Наконец, шаблонно-трагическим жестом, вполне сознавая его неискренность, он уронил голову на руки. Он рухнул; пусть его кто-то спасает; пусть за кем-то пошлют. Он сдался.

Он не слушал, не отвечал Реции. Она уложила его в постель. Вызвала доктора – доктора Доума, он лечил миссис Филмер. Доктор Доум его осмотрел. И не нашел абсолютно ничего серьезного. Ох, какое счастье! Какой добрый, хороший человек! – думала Реция. Когда сам он расклеивается, он идет в мюзик-холл, объяснял доктор Доум. Или берет выходной и играет в гольф. И почему бы не попробовать две

облаточки снотворного на стаканчик воды перед сном? «Эти старые дома в Блумсбери, – говорил доктор Доум и обстукивал стены, – часто обшиты дивными панелями, а хозяева сдуру клеят на них обои. Не далее как вчера, навещая пациента, сэра Такого-то на Бедфорд-Сквер…»

Итак, прощения нет; с ним абсолютно ничего серьезного, только грех, за который человеческая природа его осудила на смерть: он ничего не чувствует. Он не пожалел убитого Эванса, это хуже всего; но и прочие мерзкие вины глумливо, гневливо трясли головами с изножия кровати в рассветные часы и кивали на простертое тело, терзаемое сознанием позора и непоправимости содеянного; он женился не любя; обманул свою жену; соблазнил ее; он оскорбил мисс Изабел Поул, он так загажен пороком, что от него отшатываются встречные женщины.

Человеческая природа приговаривает таких тварей к смерти.

Доктор Доум пришел еще раз. Рослый, свежий, видный, щелкая каблуками, глядясь в зеркало, он все отмел – головные боли, плохой сон, страхи, кошмары, – все это нервное переутомление, и только. Стоит самому доктору Доуму хоть чуть-чуть похудеть, когда он весит хоть чуть-чуть меньше восьмидесяти килограммов, он тут же просит у жены вторую тарелочку овсяной каши на завтрак (Реция должна научиться варить овсяную кашу). Но, доктор Доум развивал свою мысль, наше здоровье всецело в наших руках. Надо чем-то

отвлечься. Завести себе хобби. Он поддел страничку Шекспира – «Антоний и Клеопатра»; типичное не то. Да, хобби, доктор Доум развивал свою мысль, ибо не обязан ли он лично превосходным здоровьем (а ведь трудится, кажется, он не меньше других) тому факту, что он всегда переключается с пациентов на старинную мебель? И какая, однако же, он позволит себе заметить, милая гребеночка у миссис Смит в волосах!

Когда проклятый болван в третий раз заявился, Септимус не пожелал его видеть. Да неужто? – спросил доктор Доум, любезно осклабясь. И просто немыслимо было не потрепать по плечу эту миленькую миссис Смит, проходя мимо нее в спальню к мужу.

– Ну-с, хандрим, а? – любезно осведомился мистер Доум, усаживаясь у постели больного. Неужто он говорил о самоубийстве своей жене, совсем еще девочке, и ведь она иностранка, не так ли? Что же должна подумать бедняжка об английских мужьях? И как же насчет чувства долга – супружеского долга? И может быть, чем лежать в постели, нам лучше заняться каким-нибудь делом? У него, слава Богу, сорокалетний опыт. И пусть Септимус поверит на слово доктору Доуму: с ним абсолютно ничего серьезного! И доктор Доум высказал надежду, что, когда он придет в следующий раз, Септимус уже не будет лежать в постели и зря волновать свою прелестную женушку.

Итак, человеческая природа восторжествовала – отврати-

тельное чудище с кровавыми ноздрями. Доум восторжествовал. Доктор Доум аккуратно являлся каждый день. «Стоит зазеваться, – записал Септимус на открытке, – и человеческая природа тебя одолеет». Доум одолеет. Остается бежать и чтобы Доум не проведал. В Италию, к черту на рога, куда глаза глядят, только подальше от доктора Доума.

Но Реция не хотела его понять. Доктор Доум – такой чудный человек. Он так внимателен к Септимусу. Он говорит, он очень хочет ему помочь. У него четверо детей, и он приглашал ее к чаю, она говорила Септимусу.

Итак, его предали. Все на свете орало: «Убей себя, убей себя ради нас!» Но с какой стати, спрашивается, себя убивать ради них? Еда вкусная, солнце греет. Да и как за это взяться? Как себя убьешь? Столовым ножом? Противно, реки крови. Пустить газ? Нету сил, трудно даже руку поднять. К тому же, раз он покинут, приговорен, одинок, как одиноки все умирающие, в его отъединенности – роскошь, величие; свобода, которой не знают все прочие. Конечно, Доум победил. Чудище с красными ноздрями победило. Но даже и Доуму не добраться до этих останков на краю света, до изгнанника, который озирается с тоской на пустую землю, до утонувшего матроса, выброшенного на берег мира.

И вот тут-то (Реция ушла за покупками) и было ему великое откровение. Голос заговорил с ним из-за ширмы. Это Эванс. Вокруг были мертвые.

– Эванс! Эванс! – кричал он.

Служанка Агнес кричала миссис Филмер на кухне:

– Мистер Смит говорит сам с собой!

Он кричал: «Эванс! Эванс!» – когда она внесла к нему поднос. Она прямо вся задрожала. Через две ступеньки сбежала по лестнице.

А Реция пришла с цветами, перешла комнату, и сунула розы в вазу, рассеченную солнечным лучом, и стала смеяться и скакать по комнате.

Пришлось купить розы, объясняла Реция, у одного бедняжки на улице. Но они почти совсем завяли, говорила она, расправляя розы.

Ах, значит, на улице кто-то стоит. Наверное, Эванс. И розы, которые, Реция говорит, почти совсем завяли, он, конечно, сорвал в Греции на лугах. Приобщение – это здоровье, приобщение – это счастье. «Приобщение…» – бормотал он.

– Септимус, да ты что? – обмерла Реция, потому что он говорил сам с собой.

Она послала Агнесу за доктором Доумом. Бегом, сказала она. Муж сошел с ума. Даже ее не узнает.

– Сволочь! Сволочь! – кричал Септимус, видя, как человеческая природа, то есть доктор Доум, входит в комнату.

– Ну, что там у нас стряслось? – справился доктор Доум наилюбезнейшим голосом. – Порем глупости, пугаем жену?

Но лично он дал бы ему, пожалуй, снотворного. И, если, конечно, они люди богатые (доктор Доум не без иронии обвел комнату взглядом), пусть обратятся к светилам на Хар-

ли-стрит. Если, конечно, они ему не доверяют, сказал доктор Доум, и лицо у него при этом было не такое уж доброе.

Было ровно двенадцать; двенадцать по Биг-Бену, бой которого плыл над северной частью Лондона, сплавлялся с боем других часов, нездешне и нежно смешивался с облаками и с клочьями дыма и летел вдаль, к чайкам – пробило ровно двенадцать, когда Кларисса Дэллоуэй положила на кровать зеленое платье, а Уоррен-Смиты шли по Харли-стрит. Им было назначено ровно в двенадцать. Наверное, подумала Реция, этот дом, где серый автомобиль, и есть дом сэра Уильяма Брэдшоу. (Свинцовые круги побежали по воздуху.)

И в самом деле, то был автомобиль сэра Уильяма Брэдшоу – низкий, мощный, серый и украшенный лишь простым плетением вензеля по стеклу, словно бы геральдическая пышность не пристала хозяину – целителю духа, жрецу науки; и коль скоро автомобиль был сер, то и в тон к этой вкрадчивой сдержанности серые меха, серебристо-серые пледы помещались внутри, дабы согревать ее сиятельство в часы ожидания. Ибо нередко сэру Уильяму Брэдшоу приходилось удаляться от Лондона на шестьдесят миль и более, с тем чтобы навещать богатых и страждущих, которым по средствам был весьма внушительный гонорар, справедливо назначаемый сэром Уильямом за его предписания. Ее сиятельство, бывало, по часу и дольше ждала окончания визита, окутав пледом колени, раскинувшись, размышляя – порою о паци-

енте, порою же, вполне натурально, о той золотой стене, которая от минуты к минуте росла, покуда она ждала окончания визита, о золотой стене, которая отделяла ее сиятельство от всех тревог и превратностей (она их храбро сносила; им с мужем тоже пришлось хлебнуть), отделяла от тревог и превратностей, покуда ее не вынесло наконец-то в тихие воды, где веют пряные ветры; там почет, восхищение, зависть, и желать больше нечего, и единственно жалко фигуру; там приемы по четвергам для коллег и благотворительные базары; там члены королевской фамилии; и – увы! – так мало времени она с мужем наедине, он безумно, безумно занят; и мальчик прекрасно учится в Итоне; ей, правда, хотелось и девочку; хотя она и сама занята: попечительство в детских приютах; выхаживание эпилептиков и – фотография, фотография, ибо, если ей попадалась недостроенная церковь или, скажем, обветшалая церковь, она всегда подкупала сторожа, брала у него ключ и делала снимки, которые просто не отличишь от профессиональных, – покуда она ждала окончания визита.

Сам сэр Уильям был уже немолод. Он очень много работал; достигнутым положением он был всецело обязан своим дарованиям (будучи сыном лавочника); он любил свое дело; на церемониях он весьма представительно выглядел; он умел говорить – и в результате всего вместе взятого к тому времени, как он получил дворянство, у него был тяжелый взгляд, утомленный взгляд (ибо поток пациентов не прекращался,

профессия же налагала весьма обременительные обязанности и права), и утомленность эта, вкупе с сединой, усугубляла редкую внушительность облика и создавала репутацию (весьма для лечения нервных болезней не лишнюю) не только блистательного врача и непогрешимо точного диагноста, но и человека сострадательного, человека тактичного, способного тонко понять чужую душу. С первой же секунды, как они вошли в кабинет (их звали Уоррен-Смиты), тотчас же, как он увидел юнца, он понял: чрезвычайно тяжелый случай. Случай полного расстройства, полного физического и нервного расстройства, и случай запущенный, он установил все симптомы запущенного случая за две-три минуты (пока заносил, бормоча их под нос, ответы пациента в красную карточку).

Сколько времени его лечил доктор Доум?

Шесть недель.

Прописал снотворное? Сказал, что не находит абсолютно ничего серьезного? Угу. (Ох уж эти мне терапевты! – подумал сэр Уильям. Половина времени уходит на распутывание их ошибок. Иные же непоправимы.)

– Вы отличились на войне?

Пациент повторил «на войне?» с вопросительной интонацией.

Он придает словам особый смысл. Занести в карточку: очень важный симптом.

– На войне? – спросил пациент. Мировая война. Потасов-

ка мальчишек с употреблением пороха. Отличился он или нет? Он просто забыл. Он скверно служил на войне.

– Да нет же, он отличился, – уверяла доктора Реция. – Он повышение получил.

– И на службе о вас весьма высокого мнения? – бормотнул сэр Уильям, заглянув в письмо мистера Брюера, не жалевшего слов. – Так что у вас никаких огорчений, ни финансовых трудностей, ничего такого?

Он совершил страшное преступление и приговорен человеческой природой к смерти.

– Я… я… – начал он, – совершил преступление…

– Он ничего-ничего плохого не сделал, – уверяла доктора Реция. Если мистер Смит подождет, сказал сэр Уильям, он переговорит с миссис Смит в соседней комнате. Ее муж серьезно болен, сказал сэр Уильям. Не грозил ли он покончить с собой?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.